

СИБИРИАДА

ТАИСЬЯ  
ПЬЯНКОВА



Я-дочь  
ВРАГА НАРОДА

Сибириада

Таисья Пьянкова

**Я – дочь врага народа**

«ВЕЧЕ»

2019

**Пьянкова Т. Е.**

Я – дочь врага народа / Т. Е. Пьянкова — «ВЕЧЕ»,  
2019 — (Сибириада)

ISBN 978-5-4484-8583-1

Осень. 1941 год. Западная Сибирь. Перебираются за Урал не только старики, инвалиды и женщины с детьми... Стараются укрыться от войны дезертиры и уголовники... В эти тяжёлые времена проходит детство шестилетней сироты Ньюшки. Далее судьба её ведёт по семи детдомам, по «ремеслухе», по заводским цехам, по заочным учёбам... Но ничто не способно отнять у неё стихов, сказок, фантазии. Она идёт к своей цели.

ISBN 978-5-4484-8583-1

© Пьянкова Т. Е., 2019

© ВЕЧЕ, 2019

## Содержание

Предисловие от автора	6
Часть 1. Воробей – птица вольная	7
Глава 1	7
Глава 2	12
Глава 3	19
Глава 4	22
Глава 5	26
Глава 6	30
Глава 7	34
Глава 8	38
Глава 9	41
Глава 10	46
Глава 11	52
Конец ознакомительного фрагмента.	56

# Таисья Пьянкова

## Я – дочь врага народа

© Пьянкова Т.Е., 2021

© ООО «Издательство «Вече», 2021

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2021

Сайт издательства [www.veche.ru](http://www.veche.ru)

\* \* \*

*Моему внуку Илье ПОСВЯЩАЕТСЯ*

## Предисловие от автора

Летом 1986 года мною был отдан в редколлегию Новосибирского книжного издательства уже готовый (по моему мнению) роман «Птаха вольная воробей» на рецензию. Судя по объёму работы (540 страниц) и моей придиристичности к себе, роман этот ложился на бумагу очень много лет. Начат он был ещё тогда, когда у меня не было даже примитивной пишущей машинки, потому рукопись писалась от руки.

В ноябре того же года писатель Л.А. Баландин вернул роман с очень добрым отзывом, но решением, что произведение публиковать всё-таки рановато, следует доработать.

Мне этого хватило, чтобы осознать себя никудышным романистом...

С той поры я вплотную стала заниматься сказами<sup>1</sup>. Затем пришла мысль написать книгу о моём детдомовском детстве. Получилась повесть «Я – дочь врага народа». После выхода этой работы (февраль 2015 г.), стали поступать просьбы о продолжении произведения. Результатом тому было моё согласие. Так в декабре 2017 года увидела читателя моя вторая повесть «И всё-таки – жить!»

Все годы создания стихов, сказов, сказок я даже ни разу не заглянула в рукопись своего первого романа. Меня одолевало желание выбросить её, как старый хлам. Но рука не поднималась: работа всё-таки была сделана огромная. Хотя, признаться, я совсем забыла её содержание.

Где-то в марте 2019 года я просматривала свои бумаги – на предмет уничтожения. И вот старая, пожелтевшая папка с забытым романом снова оказалась в моих руках. Прежде чем окончательно обречь эту работу на уничтожение, я всё-таки её открыла. Открыла, будучи уже совершенно другим человеком. Как-никак, со времени работы над романом минуло не менее пятидесяти лет (если учитывать, с какой скрупулёзностью я вывожу свои произведения в люди). Писательский, жизненный, критический опыт, здравый рассудок позволили мне понять, что же мною тогда руководило – многие годы отданы этой работе. Удивило меня то, что она оказалась преддверием двух моих уже состоявшихся повестей. И ещё поняла, что уже тогда я была писателем (хотя мало уверенным в себе). Естественно, я приступила к работе над романом, по сути, заново.

Я беспощадно убрала всякие пустословия, заменила многие слова на синонимы, несущие в себе более глубокий смысл, исключила описательства, слабо утверждающие моменты событий, наконец услышала согласие звуков...

В результате у меня от прежней работы осталось меньше трети объёма – получилась повесть, которую я определяю начальной книгой данной трилогии.

---

<sup>1</sup> См.: Пьянкова Т. Таёжная кладовая. Сибирские сказы. М.: Вече, 2019.

## Часть 1. Воробей – птица вольная

### Глава 1

В конце октября тысяча девятьсот сорок первого года, ночью, на степном полустанке был загнан в тупик кулундинский поезд. Проснись в это время кто из пассажиров, его бы охватило недоумение: кому это вздумалось занавесить вагонные окна чёрным бархатом? Но приглядишься, и он бы заметил вдалеке квадрат неяркого света, за кисеёй которого открылось бы ему нутро путевой сторожки с обходчиком внутри.

Кто-то и впрямь отворил дверь одного из вагонов. Сказал в темноту хриплым женским голосом:

– Сдуреешь с такою ездой. Пятые сутки телимся...

– Четвёртые, – уточнил девичий голос из соседнего тамбура. – Эшелоны через Татарку гонят.

– Гонят-хоронят, – срифмовала хрипатая и добавила: – Лупят нашего брата и в хвост и в гриву... На фронте – фашист, тут – своя сволота дёржит...

– Война «дёржит», – возразил молодой голос. – Перемогаться надо...

– Перемогался тать – греха не брать, так он сам в душу лезет... Чё сидели, чесались...

– Тебя бы туда – почесаться...

– А чё! – согласилась хрипатая. – Власть у нас народная. И я народ!

– Ты? Народ?! Да ты тот народ, что с народа семь шкур дерёт.

– Надо будет – и с тебя сдеру.

– Пупок не сорви, Григорьевна!

– Ха! Пугала ярка подъярка<sup>2</sup>...

Хрипатая громко позевнула и спокойно пожелала:

– Чаёчку бы горяченького.

– С чужим сахарком, – съязвила молодая.

– А то, – не смутилась чаёвница. – На хаяву и хрен сладок...

– Уж не с хрена ли тебя сухотка заела?

– Паскуда! – почти весело выругалась Григорьевна.

– Ну уж нет! – возразила молодая. – Маньку свою паскудь – она у тебя по Каинским да Омским все чужие постели поизмяла...

Хрипатая разом втянула в себя доброе ведро воздуха. Не меньше того выпустила в темноту грязной ругани. Но дверь соседнего вагона уже захлопнулась.

Помянув чёртову куклу, хрипатая развернулась – уйти. В тамбуре, однако, сошлась грудью с кем-то в темноте затаённым. Не испугалась. Только сказала: «Язви тебя!» И прошла в вагон.

На лавках, на узлах, на полу спали сумошники. Они стонали, кряхтели, кашляли. Старались хотя бы во сне освободиться от тягот накатившей войны.

– А этому ш-шелкуну, – проворчала Григорьевна, имея в виду тамбурную встречу, – никакая холера сна не даёт...

Одетый в серое обдёрганное пальтецо, в шафрановый беретик, остроносый этот «ш-шелкун» появился у вагона в Славгороде. Появился не один. В нервной толпе пассажиров за него орудовал парняга в собачьей дохе, чёрных кудрях и с розовыми ушами дармоеда. Он одоле-

---

<sup>2</sup> Ярка – молодая овца; подъярок – молодой волк.

вал толпу не силою. Широкою глоткой издавал такие звуки, словно старался напугать паровоз. Люди цепенели, пропускали горлопана вперёд. За кудрявым, словно катерок за ледоколом, следовал шафрановый беретик. Глазоньки из-под шафрана вознесены были на затылок дармоеда, а пальчик его крутился у собственного виска. Этим шафрановый извещал народ, что кудрявый не в себе...

В тамбуре горластый верзила только что не растёр проводницу по стене, «ш-шелкун» и перед нею решил покрутить пальцем. Но Григорьевна рывкнула:

– Во! Прилабунился к балбесу! Знает, что в России дураков любят.

Шафрановый беретик собрался было перед нею посомневаться относительно российской любви, но его кто-то сильный двинул по его ногам корзиною, а потом выпихнул из тамбура в вагон.

Григорьевна тут же забыла о нём, лишь в сердце осталось не то шевеление, не то жом. Это побуждало её излишне канителиться. Даже различать лица пассажиров, хотя для неё они давным-давно слились в единое месиво.

Войдя после посадки в вагон, Григорьевна тут же увидела остроносого. В заношенной зелёной стёганой безрукавке он сидел на лавке в третьем купе – коленями в проход. За его спиной бровастая тетёха теснила до окна чету стариков. Она держала на мощных стёгнах копну тугого узла. Недовольство так и лезло из её недоспелых паслёновых глаз. Она давно бы столкнула ненужного ей мужичонку на пол, если бы не кудрявый парняга над головой, хотя тот, откинув цыганистую башку на перетянутый медной проволокой чемодан, прикрытый отцовым пальто, уже сопел на второй полке так, будто на этот раз силился сдвинуть с места всё тот же паровоз.

При каждом его выдохе остроносый шевелил пальцами рук, упёртых в колени – вроде старался, чтобы не сдуло, нащупать точку опоры. Видя его носишко, устремлённый в проход, Григорьевна подумала:

«Ышь! Того и гляди загудит-вопьётся... Кровосос!»

И вдруг ей захотелось, чтобы мужичишка смутился – тот потупил глаза; захотелось, чтобы оробел – стал озиаться на мощную бабу. Но когда ему было велено задремать, фокус не удался, хотя бровастая тетёха и та уже оттопырила губу...

«Ышь, вылупился! Хоть мешок на морду набрасывай!» – зло подумала Григорьевна и ушла в дежурку. Там она остановилась перед зеркалом; от никчёмности вида своего поморщилась; щёку дёрнула нервная жилка.

– Язви его! – сказала хрипло, но беззлобно. – Надо же, растележилась... Нашла перед кем...

Наконец затеплился рассвет. Подхватывая на совок мусор, Григорьевна пятилась вдоль вагона. Когда она поравнялась с мужичком, тот вскочил, оступился, пал на колени, ухватился за неё и стал подниматься по её телу, как пьяница по столбу. Из близкого купе, ровно курицу из мешка, кто-то выпустил хохот. Проводница веником хлестанула влезавшего прямо по шафрану, под которым обнаружилась плешь. Мужичишка ухнул на лавку, придавил сонной тетёшке стегно. Та заверещала. С верхней полки явилась крепкая рука и вlepила ей такой щелбан, что тетёха лишилась голоса. А проводница уже сидела в дежурке, пытаясь понять: оскорбили её или обласкали?

Всю свою жизнь Григорьевна и не думала, что кто-то на неё позарится. Кроме сто раз проклятого ею мужа, не знавала она в своей жизни больше никого и напрочь изжила в себе женщину. Да и Филиппа Лопаренкова помнила она в мужьях не больше года. Женился он не на ней, а на богатстве её отца. И только этой любовью был до предела обуян.



На солончаковых выпасах Барабы стада Григория Дзюбы нагуливали в ту пору молоко особого вкуса. Масло отличалось неподдельной солонцой, и потому облизывались на него не только русские гурманы. Так что с огромным куском этого масла Филипп Лопаренков и заглотил, как случайную муху, дочку Григория Дзюбы.

Проводница вновь глянула в зеркало и отвернулась. Но тут же отразилась в стекле пока ещё тёмного окна. Там впадины её глазниц представились очами, мерцание капельных зрачков – влажной поволокою. И себя, законную, Григорьевна вдруг пожалела.

– Хозяюшка-а, – проник в щёлку двери виноватый голос. – Прости дурака.

Она тяжело шагнула, во всю ширь раскатила дверь и с маху опустила кулак на плешивое темя мужичка. Тот вякнул, нервно поддёрнул локотками брюки и исчез.

– А не суйся... – тихо сказала она в пустоту. – Ышь, кобель паршивый! Всю серёдку вывернул...

Отец её, Григорий Дзюба, революцию принял сразу. Сам явился перед новой властью, сам сказал – всё ошупное, видимое и спорое примите от меня с пользой для светлого дня родимой земли!

Широко шагнув в светлый день, Дзюба и о чёрном не забыл: столько отложил, что никак не мог его дожидаться. Нетерпение это и учуял зятьёк. Когда же по Сибири взялась орудовать колчаковщина, Филипп смекнул, что пора кричать ура. Но тесть пояснил зятю: сколь блоха ни скажи, а ржать ей не придётся... Тогда Филипп встал перед большим колчаковцем и предложил – давай поровну!

Взяли Дзюбу, а тот – кремь! Как ни долбили, даже искры не выскли. Денщик, который пластал его кнутом, балагуром оказался. С каждым ударом читал, как псалтырь: «Не таи, не прятай ни серебра, ни злата, ни от царя, ни от ката, а спрятал, змей, сокрыть умей; а вот те иишо на бока – не примаи в зятевья дурака...»

Из приговорок Дзюба утвердился в своей догадке, чья охота подсунула его под кнут. Филипп и сам не боялся быть уличённым. Закопать надеялся грех в тестевой могиле. Не подумал, что такого в кровь забитого тестя примет и укроет тёмная ночь. Тогда Филиппу словно кто пружины в задницу вставил: за три дня от Каинска до Колывани допрыгал. Там и остопился потому, что дорогу ему вовсе нежданно загородил расхлёстанный тесть...

В тот день Григорьевна и овдовела, и осиротела. И осталась на свете молодой, одинокой, обнищавшей матерью. Долго пыталась отыскать отцову заначку, да пришлось плюнуть и перебралась жить из Каинска в Татарск.

На новом месте пошла она работать уборщицей в Сибторг. Стала думать о судьбе с тяжёлой иронией. Но когда её дочка, Мария, взялась израстать (в Филиппову породу) красавицей, усмешка у неё получаться перестала. Тогда подавала она завхозу Сибторга и вёдра и тряпки; пошла нанялась в проводницы и раскатилась по спекуляции...

Мимо пассажирского поезда, стоящего в тупике, проносились в ночной тьме товарняки. Духота в вагоне густела. Григорьевна решила пустить сквозняк. Но не успела отворить дверь, как услышала за спиной ласковый голос:

– Стоим, хозяйюшка? Колёсики-то не крутятся...

Григорьевна молча распахнула двери, молча вернулась в дежурку. Мужичонка семенил следом, дурашливо прищебетывая:

– Не крутятся колёсики-то. И гудочек не посвистывает. Язви его!

Последние слова рассмешили проводницу. А мужичок разом усёк такое дело и опять было сунулся в дежурку. Да услышал:

– Ну!

Вертелось на языке у Григорьевны весомее слово, только привычная для неё грубость на этот раз прокрутилась вхолостую. Так прокручиваются шестерёнки в старых ходиках. Она всего лишь и добавила к сказанному: «Отвяжись!» А потом, прежде чем задвинуть за собою дверь, сморозила и вовсе чёрт-те что:

– Много вас тут... соловьёв...

Сказанного она не выдумала: дорожных певунов всегда можно по вагонам собирать мешками, только к ней это никакого отношения не имело.

Никтошеньки за десяток лет вагонной службы не то что соловьём пропеть – вороном в её сторону не каркнул. И вот те... дождалась кухарка приварка...

В зеркале дежурного купе жалкая ухмылка повела её щёку набок. Григорьевна стёрла её ладонью. Отвернулась. И сразу в оконном отражении передразнила себя, говоря:

– Не посвистывает... Свистнуть бы тебе, чтобы не липнул к одиноким...

– А до кого мне ещё липнуть? До семейных? – услыхала она за спиной и обнаружила, опять же в окне, что дверь приоткрыта.

Мужичишка за порогом тихо задрезжал смехом. Григорьевна косо улыбнулась, но не отозвалась. Мужичок разом оказался в дежурке. Григорьевна тут же ощутила на тощей своей талии трепет нервных пальцев.

– Ещё чего! – хлестанула она по блудливым рукам. – Озоруй мне!..

– Чего ты, святая душа? – отдёргнул «озорник» руки и только не заплакал. – Разве я чего тревожного?..

Он опустил на сиденье, стал пояснять:

– Смятение твоё от сухости жизни твоей...

– Во! – изумилась Григорьевна. – А ты чё? Размочить моё смятение явился? Мало ли нас, баб, с вашими войнами, на корню повысохло? Всех не размочишь... Иди-ка лучше жалей своё место в вагоне, а то займут.

– Шут с ним, с местом. Не привыкать...

– Чё так?

– Да мы с сыном с первого дня войны место ищем...

– Бродяжите, значит, – уточнила Григорьевна. – Не время болтаться-то? Гляди, немец нагрянет. Он не любит, когда человек не при деле...

– Да-а, – протянул мужичок. – Похоже, слопает нас Гитлер до весны... – вздохнул он, качая головою. – Сам-то я и под чёртом проживу, а вот сын... Больной он у меня. Припадочный.

– Господи, твоя воля! – произнесла Григорьевна не крестясь. – Больное дитя – нарыв: и саднит, и саднит.

– Нарыв – он прорвётся, – горестно вздохнул несчастный отец. – А тут... – махнул он рукой и заканючил: – Нынче у немца страда: почём зря косит. До Сибири-то дойти, может, намахается... Глядишь, и сын мой на что-нибудь сгодится. Притомились мы бегать. Считай, пять месяцев... Прирасти бы где...

– По вас не скажешь – притомились. Шуба-то на твоём бугае... только не лопается. А на чемодане? – поглядела она в упор на мужичка. – Эвон сколь... проволоки-то... Чехол бы, что ли, какой натянули... А то заглянуть хочется...

– Жили мы до немца или нет? – обиделся мужичок.

– Ну-у! Жили!

– Работали или не работали?

– А чёрт вас знает. Теперь разве разберёшь...

«Неразобранный» взялся подниматься, но Григорьевна сказала:

– Какие мы обидчивые... Надо же! Уходить нешто собрался? А чё тогда скулил у двери?

Обидчивый сел и замямлил:

– Жить не живём, подохнуть легче...

– С таким-то чемоданом?! – удивилась Григорьевна и тут же, глянув в окно, сообщила: – Снег повалил... Сам-то пошто не воюешь? – напрямую спросила она. – Аль тоже припадочный?

– Язва у меня.

– Смотри не потеряй! А то взамен шанелку серую схлопочешь...

Григорьевна уже поняла, что ЭТОТ ищет по свету пристанище с надёжной хозяйкою, такую примерно, как она. Потому готов многое стерпеть. Она решила не миндальничать, села рядом, спросила:

– Жену свою пытал – нет? Спрашивал, поди-ка: какой-такой здоровый фулюган изловил её? Ышь какого породистого сына тебе отвалила! – Она похлопала гостя по колену. – Ну-ну-ну! Брось! Никакой обиды тут нету. Где бы овечка ни бегала, а ягняточки всё наши... – Затем напористо осведомилась: – А может, он такой же припадочный, какой ты язвенник?

– Ну и характер! – только и проговорил гость.

– А ты покайся, – посоветовала Григорьевна, заглядывая ему в лицо. – Я – поп надёжный. И в доме своём одна живу...

Мужичок оживился:

– Это дело! Это да-а!..

Тут Григорьевна решила, что пора пришла узнать:

– Тебя как зовут-то?

– Осипом. Осип Семёнович Панасюк.

– Сю-сю-сю, – ухмыльнулась проводница и назвалась: – Фетиса Григорьевна Лопаренкова.

– Не из простых, – заметил Осип.

– Да уж! Не ошибся, – согласилась Фетиса.

Она извлекла из-под стола укутанный в казённое одеяло чайник и подтвердила:

– Есть маленько.

Затем пригласила:

– Придвигайся.

В этот момент вагон дёрнуло...

## Глава 2

Нюшке пригрезилось, что не бабушкин голос пропел над её ухом – грянул оркестр, тот, который летом помешал ей понять, о чём кричала с подножки зелёного вагона её мать.

Девочка села в постели, сообразила, что испугалась напрасно, и снова повалилась на подушку. Сразу увидела тот самый зелёный вагон с белыми во всю длину буквами... Но бабушка опять затормозила её:

– Вставай, воробей!

Нюшка подняла косматую голову, увидела в морозном окне рассвет, съехала с кровати на пол, потянула со спинки стула вязаную кофту. Но бабушка остановила её:

– Мордаху сперва сполосни. Не в курятник нацелилась...

Девочка раз-другой поддала мочку рукомойника, утёрлась холщовым полотенцем, открыла дверку шкафа.

– Не дотянешься, – остановила её бабушка и проворчала: – Всё сама... Всё сама... Батя родимый...

Девочка надела поданное ей платье, влезла на табурет, покрутилась перед зеркалом. Тонконогая, в пёстром наряде, она и впрямь смахивала на воробья.

Бабушка расчесала ей вихры, приобняла, сказала:

– Червячка хоть замори... Кто знает, когда там Варвара раздобрится покормить вас?

– Не, – отказалась Нюшка. – Верка велела рано быть, а то большие сядут гулять – не до нас будет. Она показывала мне, сколько у них там всего наготовлено.

– Понятно, – согласилась старая, – где ж не наготовить... – Потом, скорее для себя, чем для внучки, уточнила: – Сам-то Степан Матвейч – бог и царь в любом колхозе. Потому как – заготовитель!

Говоря это, она поверх шубейки повязала внучку платком, глянула в запрокинутое личико, попросила:

– Если Варвара лишнюю постряпушку раздобрится дать – не откажись: Тамарка Будина совсем плохая. Пусть хоть перед смертью сдобненького пожуёт. Вечером сама и отнесёшь.

Нюшка толкнула попой дверь и с обещанием «ладно» утонула в холодном сумраке сеней.

Сама Елизавета Ивановна Быстрикова прошла до окна. В проталину стекла увидела рассветный переулок, подумала вслух:

– Чего бы это Немчихе раздобраться – Нюшку в гости приглашать? Наверно, надо платье новое пошить или к седьмому побелить в доме...

По утреннему снегу Нюшка топотала чунями. Они походили на калоши деда Мицая, который служил завхозом в школе деревни Казанихи, где был директором Нюшкин дядя – Быстриков Сергей Никитич.

Деревня от районного города Татарска отстояла в двадцати километрах. Отправляясь в район по делам школы, Мицай обычно забирал с собой деревенскую почту. Если в Татарске его заставляла ночь, заезжал переночевать в доме матери своего директора – Елизаветы Ивановны.

Завидев в окошко старика, маленькая Нюшка обычно пряталась за сундук. Сидела там и знала, что старый Мицай только потому не Дед Мороз, что у него и калоши, и борода чёрные.

Появляясь в доме Быстриковых, Мицай первым делом принимался «искать» Нюшку. Старик долго «не мог её найти», а когда находил, визгом и смехом полнилась вся изба...

Чуни для внучки соорудила сама Ивановна – так звали бабушку её соседи; все внучкины и не только её пожитки остались в Новосибирске, потому как после ареста энкавэдэшниками

по 58-й статье<sup>3</sup> Ньюшкиного отца мать с дочерью были высланы из города в двадцать четыре часа...

Войну они встретили в Татарске, в хатёнке Ньюшкиной бабушки. Отсюда и забрали хирурга Александру Быстрикову прямо на передовую...

И пришлось Елизавете Ивановне отыскать в кладовке старые ребячьи валенки, отрезать от них голенища, ими же подшить головки. Готовые чуни она поставила перед Ньюшкой, сказала:

– Щеголяй! Пугай зиму. Пусть она бежит – фашистов морозить.

При ходьбе чуни шмыгали, оставляя на снегу следы, похожие на больших головастика. Это всегда забавляло Ньюшку. Но сегодня она торопилась к подружке, которая позвала её на именины...

Во дворе Немковых притомилась брехать собака Халда. Девочкины следы успела припорошить снежная искра, а калитка высокой зелёной ограды все не отворялась. Гостье давно бы следовало понять, что в доме никого нет, да сладкий запах ванили сулил праздник. Ньюшка пыталась заглянуть во двор, но не находила щели.

Готовая заплакать, она прилипла лицом к доскам ворот, зажмурилась и в зелёной темноте увидела знакомый зелёный вагон. Странно, что на этот раз она различила вдоль вагонов белые буквы, которыми было написано: «Наше дело правое – мы победим!»

Читать Ньюшку научил отец. Он же наказывал ей никогда не жаловаться, не врать и не реветь. А вот сколько можно стоять в ожидании у чужих ворот, этого он не успел объяснить...

И вдруг на неё сверху свалился голос:

– Ты чего тут забыла?

Ньюшка метнулась от ворот; чуня свалилась, подвернулась под ногу, уронила её на четвереньки, и такой девочка попятилась от голоса.

– Эт-того ещё не хватало! – опять услышала она над собою, а перед собой увидела на серых валенках чёрные клеёные калоши деда Мицая.

Старик подхватил её, поставил на ноги, сказал:

– Негоже такому человеку, как ты, ползать перед воротами всякой нечисти! Твоя мать на фронте солдат от смерти спасает, а ты, видишь, чё творишь... По земле только фашистское тараканье ползает!

Он приподнял за подбородок её лицо, заглянул в глаза, сам качнул головой в сторону калитки, спросил:

– Зачем ты к этим?

– Надо.

– Надо так надо... – не стал допытываться дед, а, вытянув из-за опояски полушубка кнут, ударил кнутовищем по воротам.

Во дворе взорвался собачий лай, и тут же пропел Немчихин голос:

– Слышу, слышу... Чего доски-то ломать? Не своё, так и не жалко...

– Ты, Захарьевна, насчёт своего-то помолчала бы... – отозвался Мицай и громко обратился к Ньюшке: – Если эта паразитка вздумает ещё когда над тобой изгаляться, бери палку! К этим выследкам с палкой ходить надо...

– Чему учишь?! – заругалась было Немчиха, но, высунув голову в проём приоткрытой калитки, уже елеинным голосом спросила: – Ты чего это, Данилыч, расхотелся? – И вроде только что заметив девочку, разве что не запела: – Нью-туш-ка! Ты к нам? Проходи, милая.

Девочка поглядела на Мицая, старый подтвердил:

– Иди, иди! Поди-ка, не слопают.

---

<sup>3</sup> 58-я статья УК РСФСР – «враг народа».

Хозяйка пропустила гостью во двор, там спросила:

– Ивановна, что ли, зачем прислала?

– Не-а, – ответила Нюшка. – Верка ваша на именины звала.

– Ещё не лучше! – воскликнула Немчиха. – Нашла мне гостью! Со всякой хухры мохры...

– Варвара! – грянул с улицы голос Мицая. – Только обидь мне малую!..

Дух стряпни замутил Нюшке голову. Озябшими пальцами она не сумела распустить узел платка, стащила его с головы на плечи и не посмела окончательно его снять, поскольку хозяйка, указав ей на табурет у двери, велела:

– Сядь!

Девочка покорилась, а Немчиха взялась втыкать длинный нож в огромный кусок свинины, что лежал на столе. В каждую прорезь всовывала она по дольке чеснока. Нож был туповат, и гостья мысленно стала помогать хозяйке. Табурет под нею взялся поскрипывать.

– Чё ёрзаешь?! – окрысилась Варвара.

Нюшка притихла, а хозяйка прошла до горячей плиты, грохнула там синей мискою, кинула в неё кусок масла, сказал в сердцах:

– Только проснись мне, курвёха! Я т-те справлю именины!..

Она вернулась к столу. Льняное полотенце, что таило у печи на лавке что-то бугристое, задетое хозяйкиным подолом, сползло на пол – оголило поставленные на ребро круглые хлебные булки. Из эмалированного таза вылупились на девочку жёлтыми яичными глазами сдобные шаньги.

– У, ладья! – обозвала себя Немчиха. – Раскурдючилась...

Она подхватила с пола накрыву, отряхнула и заново прикинула её готовую стряпню. Но одна из шанег осталась глядеть на гостью яичным оком.

Нюшке показалось, что она шепчет, почему-то картаво: «Дурлочка ты дурлочка...»

На плите, в синей миске зашипел ком сливочного масла. Глянцевым опливом он тоже стал пялиться на гостью. Оседая, он словно хотел спрятаться за край посуды. А когда осел, начал плевать на плиту синими огоньками.

– Раззява чёртова! – спохватилась хозяйка и впопыхах сдвинула чашку голой рукой, отчего затрясла пальцами, заругалась: – Задурили совсем башку, что б вы все передохли! Где тряпка? – чуть не вывернулась она мездрой наружу.

Нюшка соскочила с табурета – подать тряпку, которая лежала на краю стола. Однако Немчиха рывкнула так, что во дворе вновь отозвалась Халда:

– Прыгай мне тут! Тряси вшами!

Девочка бросилась к порогу, но Варвара ухватила её за шиворот, пихнула на прежнее место.

– Сядь! – приказала. – Сщас проснётся сучонка моя – разберусь с вами: кто кого приглашал...

Немного погодя она стала выговаривать Нюшке:

– Гляньте на её. Капся капсёю, а туда же – в гордость! И знать не хочет, чья она дочь... Вот порода! Ты мне поясни, – потребовала она, – на какой такой вершине вы все, Быстриковы, стоите, что и до макушки вашей не доплюнешь? Ну, врачи! А чё наврачевали? Пару драных штанов? В бабкиной вашей завалухе доброму вору и прихватить-то нечего...

Девочка понимала, что Немчиха говорит уже не ей. Говорит она в ту избушку, где её бабушка думает, что внучка от подобрешней Немчихи принесёт сдобную булочку – угостить большую подружку Тамарку Будину...

На табурет девочка больше не села – опустилась на корточки у порога, уткнулась лицом в колени. Сначала она принимала хозяйкину говорильню пословно, затем слова смешались,

зашумели непогодой, вроде Лиза и в самом деле взошла на вершину горы. Скоро она и впрямь увидела перед собой бескрайнюю неизвестность, поняла, что именно быстриковской породой определено одолеть ей этот простор...

Пойми Варвара, каким уроком для девочки послужит её брехня, подавилась бы словом. Но она токовала и токовала, как глухарь, чуя только себя.

Тем временем Нюшка уже оказалась в бабушкиной хатёнке, где недавно умерший дед Никита, похлопывая худыми ладонями, пел:

Три татары, два татары.  
Три татары, два татары...

Голос у него был хороший, но иных песен он не знал, хотя бабушка уверяла, что в молодости дед ходил в бо-ольших певунах.

Для любимой внучки он готов был петь своих «татар» когда угодно, сколько угодно, только бы она при этом плясала.

– Ну, – смеялась бабушка, – взялся балет...

Кончалась обычно пляска тем, что дед нащупывал под подушкой гостинец и одаривал им «народную танцорку»...

– Уснула!

Нюшка вздрогнула, подскочила, пропустила уже одетую Немчиху в сени. Там Варвара лязгнула дужкой ведра, хлопнула дверью, и скрип её шагов потонул в радостном собачьем лае.

И опять на гостью выпучилась желтоглазая шаньга. Девочка не выдержала, подошла укрыть пучеглазую, но помедлила – спросила шёпотом:

– Чё ты вылупилась? Не бойся – не заберу.

Она пальцем погладила сдобу, похвалила:

– Краси-ивая!

Словно ёлочную игрушку она приняла шаньгу на ладонь, вдохнула аромат ванили, на вытянутой руке стала баюкать сдобу, придумывая колыбельную:

Ты меня не бойся, полотенцем укройся.  
Не возьму я тебя никогда, никогда...

Скрип сенной двери бросил девочку к порогу. Тут она вспомнила про шаньгу, метнулась вернуть. Но хозяйкины шаги кинули её вспять. Она прижала постряпушку к себе и сама прилипла спиной к дверному косяку.

Стоило Немчихе перешагнуть порог, девочка рванулась в открытую дверь и так скоро оказалась на улице, что Халда хватилась лаять, когда калитка уже захлопнулась.

– Под ворами, – говорила как-то бабушка Лиза, – кроме страха, никакой опоры нету. Ползают они по страху своему, как по гребню высокого хребта; по одну сторону – пропасть больной памяти, по другую – бездна никчёмности. И елозят они по острию своей жизни, и скулят, и скалятся на простых людей. Куда ни ползут, туда и беду несут...

«Не воровка я, – хотелось кричать девочке, которую уносили ноги подальше от немковского двора. – Не воровка!..» – шептала она, всё медленнее перебирая ногами. Глаза её плохо видели дорогу, и она то скользила по наледям, то оступалась на рытвинах. Но не плакала – не могла она понять своей вины. Не верила, чтобы невольная её проделка могла бы кому-то принести горе. Не ведала, что для жаждущих истины существует одна лишь правда – правда быть понятым.

Наконец Нюшка остановилась, посмотрела на шаньгу, которую всё ещё прижимала к груди, не придумала – что с нею делать, сунула за пазуху и побрела дальше...

Вдруг она оказалась на главной Володарской улице Татарска, как раз против своего переулка. Второй от угла теплилась двумя окнами бабушкина хатёнка. Окна её глядели и на деревянный мостик через канаву, копанную вдоль бабушкиного двора, и на хилую у калитки заиндевевшую рябину – только не на Нюшку.

Избёнка, мостик, рябина были как бы нарисованы на холсте, в который невозможно было войти... Тогда девочка решила оказаться в своём дворе с тыла. Соседней оградой она добралась по снегу до межевого плетня, влезла на него, увидела с высоты ещё один двор – двор бабушки Буди. Увидела, что сама старушка стоит на крыльце дома, вскидывает к небу руки, потом роняет их себе на голову и покачивается...

Из сеней вышла чужая тётка, увела Будю в тепло...

Нюшка колыхнулась на плетне, раскинула руки – шаньга скользнула из-за пазухи на снег. Тут же недалеко опустилась с неба ворона, трепыхнулась и боком стала прискакивать к поживе. Нюшка сверху повалилась прямо на сдобу...

Она не сразу осмелилась глянуть под себя, а когда увидела шаньгу целой, радостно вскочила; ворона каркнула и нехотя взлетела на крышу сарая. Нюшка сказала ей:

– Сама не ем. Тamarке Будиной обещала.

Сказала и обрадовалась этой правде.

Тем же путём девочка вернулась на улицу. По тротуару, вдоль заплота запрыгала к дому Будиных, напевая:

Скоком, боком, не-на-ро-ком  
Поскачу к лесным сорокам.  
Поскачу, полечу, всех я пе-ре-стре-ко-чу...

У этой песни, чтобы допрыгать до Будиных ворот, не хватило слов, и девочка начала другую:

Чудо-юдо па-ро-воз, ты куда меня по-вёз?  
Видно, сел я на-у-гад – по-во-ра-чи-вай на-зад...

Намеченные ворота на этот раз оказались рядом прежде, чем слова закончились. Девочка допрыгала своё пение на одном месте и только потом оказалась во дворе.

Тёмными сенями она пробралась до тяжёлой избяной двери, потянула за скобу. Пока пролезала в скупой проём, успела увидеть подружку Тamarку. Та голая сидела в корыте, поставленном посреди пола; мокрые волосы занавешивали ей лицо. Густой пар восходил из корыт. Девочке показалось, что Тamarка замурована внутри глыбины живого тусклого льда.

Нюшкина бабушка держала Тamarку за подмышки, чужая тётка намыливала вехотку...

Обе подняли глаза на вошедшую и замерли. Она же вынула шаньгу из-за пазухи, протянула бабушке, но та сказала:

– Ступай, воробей, домой. Я скоро приду.

Чужая тётка заплакала и сообщила:

– Нету больше нашей Томочки, вот она – беда-то какая...

Уходя, Нюшка успела увидеть, что зеркало над рукомойником прикрыто полотенцем. Лишь маленький уголок глядит на неё, скрывая какую-то страшную тайну...



А на улице валил снег. Он когда-то успел запорошить и тропки, и дома, и чахоточные татарские деревца. Всё побелело, кроме неба. Устланное сивым рядом сплошной тучи, оно сеяло и сеяло на землю белую хмарь.

Девочке показалось, что прохожие набухают этой непогодой. В каше клейких снежинок люди плывут стоймя. Медленные, усталые, они похожи на ленивых карасей. Некоторые шевелят вывернутыми губами. Но и безголосых Нюшка понимает: они вторят: «Во-ров-ка, во-ров-ка...» На близком переезде слышно стучит злыми колёсами паровоз и во весь город орёт: «Принес-ла-а беду-у-у...»

И уплывают от неё, от виноватой, рыбные люди в небыль, пропадают меж водорослей, которые ниспадают с низкого, как потолок, неба...

Снег взялся налипать и на неё. Только Нюшке не захотелось становиться рыбой.

Пытаясь нарушить это колдовство, она закричала: «Мама!» Однако её губы уже успели когда-то вывернуться и потому выпустили наружу только водянистый хлип. От хлипанья такого дома и деревья вдруг закачались. Девочку повело тоже покачаться, но она не попала со всеми в лад и её стошнило.

Отерев рукавом губы, она медленно зашмыгала чунями домой.

На дощатом мостике, перекинутом через канаву, прокопанную вдоль бабушкиного двора, Нюшка сослепу уткнулась лицом во что-то шершавое. Её обдало запахом дыма, пыли и пшённой каши. Этот запах ей был очень знаком. С ребятнёй она не раз бегала на железнодорожный переезд, где зачастую останавливались военные эшелоны. Там из теплушек выскакивали солдаты. Они спешили обласкать стоящую вдоль насыпи детвору и угощали её плотными кусками пшённой каши.

Нюшка втянула в себя этот запах, раскинула руки и с новым криком: «Мама!» – обняла шинель. Но одна её рука подхлестнулась в странную пустоту. Девочка поглядела вниз, обнаружила на мостике только одну ногу и попятилась. Глянула вверх и увидела там лицо молодого солдата...

Где было догнать девочку одноногому инвалиду? Лишь паровозный гудок, которым несло от переезда, поспевал за нею. Ему, наверное, хотелось помочь Нюшке заплакать, однако ей было не до паровоза. Когда же она уловила его настырный голос, то показалось, что он продолжает орать: «Не воруй!»

Увидев на дороге клочок сена, девочка сгребла его, развернулась и помчалась – заткнуть паровозную глотку.

Настывший на чунях снег подсекал её полёт. Она падала, но охапку не выпускала. На огромной наледи она выбороzdила в снегу долгую ледяную пролысину и всё-таки пустила сено на ветер.

Усевшись посреди дороги, она промокнула снегом кровь на лице и заметила, что всё кругом изменилось: или задумалось, или подобрело? Потом поняла, что настырный паровоз больше не орёт. Но тут оказалось, что бежать-то ей больше некуда. Она поднялась и, чтобы не стоять на месте, побрела неведомо куда...

Глухая зелень заплота по-прежнему охраняла немковский двор. Халда опять взялась исходить брёхом. Нюшка увидела у соседнего забора гнутую железяку, что выглядывала из-под снега, ухватила её, вытащила, а потом со всего маха долбанула ею по зелёной калитке. И ещё! И ещё! И вдруг повисла на этой железяке, а когда сорвалась – увидела перед собою Варвару в зелёном, как заплот, платье, только уляпанном красными маками.

Выпуская из себя злобу, Немчиха шипела:

– Нищета проклятая! Отвяжешься ты нынче от нас или нет?!

Девочка наконец поняла, зачем она заново оказалась возле двора Немковых. Она отбежала в сторонку, сунула за пазуху руку и крикнула:

– Забери свою шаньгу!

Однако сдобы за пазухой не оказалась. Лиза взялась обшаривать себя, но увидела, как Варвара, словно танк, медленно наползает на неё. За красными маками исчезли калитка, забор, небо... остался только скрежет страшных слов:

– Ах ты, вор-р-ровка!

Под Нюшкин платок полезли Немчихины пальцы, загрибли ухо. Девочка крутанулась и что есть силы вцепилась зубами в мякоть ванильной руки.

Крепкая затрещина откинула Нюшку на дорогу. Калитка заскрипела, матерясь и проклиная «вшивую нищету...»

И опять девочка побрела заулками, чиркая по снегу заледенелыми чунями, из которых уже всползал на неё болезненный озноб. Он поднимался по ногам, по животу, по груди, до плеч, до зубов. Зубы взялись стучать. Тряский холод взбудоражил недавнюю тошноту. Голова закружилась. Нюшке казалось, что она летит по небу, куда однажды взметнул её отец. Невидимый, он где-то внизу, он поёт – всё выше, и выше, и выше... Но руки его не ловят Нюшку. Потому она медленно съезжает с серого неба, ложится животом на такую же серую дорогу, которая расходится под нею голубыми, зелёными, фиолетовыми кругами... Она поднимает голову, но никого кругом не видит. И опять пришлось вставать, задвигать ногами, чтобы совсем неожиданно оказаться возле бабушкиной избы.

Калитка отворена. Во дворе, на крыше сарая, что-то долбит знакомая ворона. Девочка лепит снежок – бросить в птицу, но вдруг обнаруживает перед собой несколько красноносых, сопливых старух. В свете предзакатного солнца они тоже качаются. От этого колыхания исходит скрежет, словно внутри толпы какой-то настёрный дурак водит по стеклу длинным ножом.

Последние слова, что слышит Нюшка перед тем, как померкнуть в её глазах вечернему солнцу, произносит прямо ей в лицо одна из плачущих старух:

– Сиротинушка несчастная...

## Глава 3

В городе, каким бы он ни был, не живёт то простодушие, которое роднит крестьянские дворы. Деревня всегда знает своего дурака, иначе бы она захворала подозрением, потому как всякий стал бы гадать – уж не меня ли таким считают. Ведь без Анохи<sup>4</sup> все Ваньки плохи. Дурень на миру – это отхожее место нервной жизни общины.

Иное дело – городок! Тут всякий родится уже «облизанным», и никто никому не позволит переплюнуть себя в самомнении. Поэтому, видать, и не любят городские улочки новосёлов, потому и стараются их изживать. Когда же кто из «новаков» приходится злопыхателям не по зубам, в таком углу города начинается новое летоисчисление.

– Данил-лна, – пытается тогда одна соседка другую, – помнишь, када я эту шаль купляла?

– А то! – гордится Даниловна памятью. – В Мануйлихина примака годок.

И если с «примаками» да «фатерантами» как-то ещё смирялся такой городской закут, продажа дома равна была концу света. Заулок воспалялся, как слепая кишка. Хозяину продаваемого дома разом прощалось всё: и языкастость, и скаредность, и, чего греха таить, даже слабость на руку... Как из мешка сыпались на него примеры возможного исхода предстоящей «дурости».

Но обычно вся эта «мука» мололась на ветер. Дом продавался. Вселялся новый хозяин, и начиналась для него пытка: не помрёт, так подохнет...

– Матвевна! – жаловалась одна старожилка другой. – Вечор потянула меня холера на чердак, квочка, паразитка моя, взялась там гнездиться, а туды ктой-то мне кошшонку дохлую закинул.

– Да никто боле, как новаковы шармачи.

– И я так поняла. Я и швыранула дохлятину ету прям-ка имя на крыльцо...

– А у меня ктой-та поленья из дровяницы наловчился потаскивать...

– А у кумы у моёй лук на грядках повыдергали...

– Всё новаки...

– В жисть никогда в нашем проулке такого не было...

Случалось, дом перепродавался, пока владельцем его не становился «подходящий мужик»: либо угодник, либо хват...

А чтобы сокрыть в доме постороннего человека, так это вовсе было пустой затеей. Не удалось и Фетисе утаить своих гостей. Прибыли они в дом слякотной ночью, а белоснежным утром, когда Лопаренчиха, задумавши большую стирку, растапливала печку в летней избе, что стояла во дворе, её окликнула через заплот соседка Калиниха:

– Григорьевна! Приехала, чё ли?

– Прикатила воротила, – отозвалась Фетиса.

– Никак со гостями?

– С какими тебе ишшо гостями?! – сразу озлилась Лопаренчиха. – Яйца в куриной дыре от тебя не утаишь! Нешто моих гостей всю ноченьку ты, бедная, высматривала?

– Ну! – согласилась соседка. – Полсуток на работе отдубасила, два часа за хлебом отстояла, ребятню обиходила, с хозяйством управилась, а там села и давай гостей твоих сторожить.

– Ты свой рот-то паклей не то бы заткнула: текёт из него чё ни попадя...

– Свой заткни! Опять напхивезла нам всякой шалупони!

– Какая тебе шалупонь? – В голосе Лопаренчихи пыхнули мстительные нотки. – Вакуированные беженцы привязались: продай да продай дом. Вот! Смотреть привезла.

---

<sup>4</sup> Аноха – простак, недоумок.

– Как это – продай? Как это – смотреть? – тут же забыла Калиниха всякую перебранку. – А сама куда? К Морозу под берёзу?

– Так мне чё? Одна-то голова не бедна, а бедна, так одна.

– Как это – одна?! А Манька твоя?

– Так ить Манькиному маёру фатеру в Омском сулят. Я до них и перееду...

– Вот-вот! Куда это тебя черти намаёрили? Да у твоей у Маньки каждый день по Ваньке. Уж каким был для неё Сергей Никитич и тот не угодил. Всё князя ишшете...

– О-ой! Сергей Никитич! Нашла прынца! – захрипела смехом Григорьевна. – Да мы от него еле избавились. До сих пор в избе книгами его воняет. А чё до маёра... Маёр – человек самостоятельный. Мария вся прям исхвалилась.

– Хвалиться не с крыши свалиться, шею не свернёшь... А как того маёра да на фронт погонят?

– Так Мария чё, не знала, с кем связаться? Бронь у него. Он и расписаться её звал, да ваш хвалёный Сергей Никитич до сих пор в паспорте у неё стоит.

– Выходит, Манька твоя маёру-то – пришей кобыле хвост? А ить чужой мужик, что чужая собака – не удерёт, так укусит. И долго она будет разным богам молиться?

– Чё ей молиться? Она сама – бог! Её красота любому не то маёру – генералу в честь будет! А то вспомнила мне... Сергея Никитича. Хромоту полуногую!

– Да вы вместе с Манькой ополоска той ноги не стоите! – подняла голос Калиниха. – Маньку твою все хватают, да никто не дёржит...

– Зинку твою дёржут! – захотелось Фетисе зацепить соседку за живое. – На неё голодный комар и тот не сядет. Заматерела – кайлом не разгвоздишь...

– Ничё! Сухое не зачервивет. А вот Маньку твою знай поливают, кому не лень... Просушить бы не мешало...

– Пошла ты!.. – матюгнулась Лопаренчиха. – Без сопливых склизко...

– Смотри не расшибись! Кому я тогда с Омска весточку передам?

– От Марии, – встревожилась Фетиса.

Калиниха уловила соседкин непокой, спросила не без издёвки:

– Чё всполошилась? Али твоя красавица доброй вестью не славится?

На что Лопаренчиха приказала:

– Неси письмо!

– Щас! Сама не барыня – прибежишь, – ответила соседка и ушла в дом.

В избе Калинихи на русской печи посапывали двойнята. Забавляясь, дыханием ребят занавеску пошевеливала тишина. Было тепло и чисто.

Крепенькая хозяйка приняла с посудной полки письмо, подала следом за нею вошедшей в дом Фетисе, сказала:

– Без обратного адресу. От Маньки ли?

– Разберусь, – ответила Григорьевна, сунула письмо в карман стёганки, повернулась уйти, но Калиниха остановила её:

– Ты одна такого вопросу-то не решай.

– Какого такого?

– Дом продавать! Какого...

– Эва, – усмехнулась Фетиса. – Скулит, об чём Бог не велит.

– Как это – не велит? Сколь годов, худо-бедно, бок о бок прожито. Да ты подумай только: ить в чужбу, как в службу – всяк тебе командир.

– Все мы нонча по чужим дворам живём. Война сюда идёт, аль не слыхано тобою? Наши только портянки успевают подхватывать...

– Рехнулась баба! – перекрестилась Калиниха.

– Если бы! Дуракам-то куда проще: где поел, там и в рай поспел. А тут уж и не знаю кем надо быть, чтобы не понять – крошит нас немец, что капусту! Ты дома сидишь, одно радио и знаешь. А я чего только не слышана... Гляди, на заре загалдят во дворе...

– Типун тебе на язык!

– Да хоть десять... Типунами Россию не загородишь...

– Опомнись, Григорьевна! Чё ты молотишь! Кровь наших сынов разве зря льётся?

– Танки кровью не захлебнутся. Уж сколь успели пролить, а немцу хоть бы хны. Он уже галифе своё гладит – седьмое в Москве справлять.

– Да на Москву нашу какие только псы не рвались – все на перегной пошли! И этих приструнят!

– Приструнил Федя медведя... Кабы не распутица, они б теперь по Красной площади с барышнями бы гуляли...

Фетиса закрутила задом, изображая гулящих девиц.

– Чего ж они дотянули до распутицы? В Москве бы и гладили свои штаны... Ктой-та им, наверное, всё-таки помешал?

– Не журишь, тату, придут и в хату, – заверила Григорьевна. – Если у немца и вполонину так пойдёт, к весне, гляди, воевать – мужиков наших не останется. Баб с вилами начнут призывать...

– Нужда припрёт, я первой на пушку с вилами полезу...

Представив коротенькую Калиниху верхом на пушке, Лопаренчиха развеселилась:

– Пушка не печка. Она тебя так согреет – задом к небу прилипнешь.

– Фетиса, – почти шёпотом спросила Калиниха, – ты, часом, не рада ли немцу?

– Какой мне от него резон? – не смутилась Григорьевна.

– Да простой: кошку бьют, мышки розги подают. Не будет нашей власти – спекулируй, жри за всех совестливых! Чую, что и твои покупщики нонешние одного с тобой пошибу. Ты чего им сральню-то не показала? Всю ноченьку заплот мой обстреливали. Хороший человек до такого стыда не дожрётся.

– Во-он как ты выследила моих гостей! Жалко – не знали, что ты в задницу к имя заглядываешь... Надо было им по твоим шарам лупануть.

– Я и без шаров скажу: опять... навезла нам срамоты – то ль баптисты, то ль скоты...

У Фетисы из морщин, как ржавые пузыри из болота, вылезли бешеные глаза. Она шагнула на хозяйку. Калиниха метнулась к печи, ухватила сковородник. Григорьевна медленно вернулась к двери, сказала:

– Дай время, соседка: не тем час дорог, что долог, а тем, что короток...

## Глава 4

После снегопада воздух загустел. Подул сиверок. У Калинихи на крыльце Фетиса закашлялась, ругнула погоду, направилась вон со двора. Но не успела отворить калитку, как услышала, что кто-то идёт переулком. Она понадеялась – переждать идущего, однако шаги замедлились. Фетиса выглянула на улицу, за калиткой стояла Калинихина дочь Зинаида.

Лопаренчиха её не звала никак. Надо сказать, что и Зинаиде после встречи с Фетисой всякий раз хотелось отряхнуться. Однако на этот раз девушка поздоровалась и безо всяких предисловий сказала:

– Елизавета Ивановна Быстрикова умерла.

Григорьевна шагнула со двора – уйти молча, сделала пару шагов, но спиной всё-таки спросила:

– Не она ли вчера перед аптекарем у Сибторга хорохорилась?

– Отхорохорилась, значит, – ответила Зинаида. – Днём солдат к нам в госпиталь долеваться прибыл; он своими глазами видел, как Александру прямо из хирургической палатки забрали энкавэдэшники. Вот Ивановну и скрутило...

– Ну а чё от меня ты хочешь? – так и не повернувшись, спросила Фетиса.

– То и хочу, что Нюшка заболела – простыла. В детской больнице нету мест, так её к нам в госпиталь положили.

– Положили – выхаживайте. На то вы и дохтора.

– Но, Фетиса Григорьевна, вы всё-таки девочке какая-никакая, а родня...

– Родня – от юбки мотня. Ежели взять по мне, так пусть они хоть все попередохнут...

Она уж было подготовилась к ругани, да Зинаида шагнула к себе во двор и задвинула на калитке щеколду.

Фетиса направилась домой. У своих ворот плюнула в отпечаток девичьего сапога, да только вдруг присела на корточки, скособенила голову, приглядываясь к следу, потом вскочила, побежала за ушедшей, но тут же опомнилась, развернулась и крупно пошагала к себе во двор. Однако в избу не свернула, а напрямик направилась в летник, где села на скамью и стала складывать кусочки памяти – составлять одну из картин былого.

Одной из зимних ночей запрошлого года в доме оставались Мария да Сергей, Фетиса возвращалась с поездки ранним утром. Шагая своим переулком, она увидела по снегу женские следы. Её озадачило то, что следы вели к ней во двор. На крыльце же ими был вытоптан целый точок. Там явствовало ещё и отпечатки зятевых костылей. Увиденным наполнило Фетису, как ядовитой отрыжкой. Тогда Фетиса ударом плеча высадила в доме дверь...

Былая картина вспыхнула теперь с такой силою, что Лопаренчиха бросилась в дом, но у крыльца опомнилась. Войдя в кухню, заглянула в комнату. Гости почивали. Осип лежал на диване, Фёдор на кровати, хотя с вечера она кинула ему на пол ватный тюфяк. Из-под подушки Фёдора выглядывал уголок чемодана.

В душе Фетисы от увиденного появилась какая-то пустота, словно что-то она проглядела, до чего-то не дошла умом.

Лопаренчиха машинально сняла с себя телогрейку, взамен надела полушубок. В сенях взяла вёдра, коромысло – отправилась на водокачку.

У калитки, вперемишку с Зинкиными, увидела собственные следы, опять вспомнила девичьи, запрошлые, сказала безо всякой страсти:

– Ой, Зинка, Зинка! Догадайся я тогда, что это ты натопала, вышли бы тебе боком мои спички...

Тогда зять Лопаренчихи Сергей Никитич Быстриков был удивлён настолько, словно тёща влетела в комнату на метле.

– Кто? Отвечай!

– Вы о чём? – не понял Сергей.

Но Фетиса на его вопрос так саданула кулаком по столу, что огонь в настольной лампе погас. Зато сама она вспыхнула голосом:

– Допрыгался?! Доучился?! Девок по ночам принимать...

В ничтожном свете грядущего дня Фетиса покосилась на лежащую в постели Марию, которая показушно отвернулась лицом к стене, позволяя матери блажить дальше.

– Я для чего дочку растила, чтобы она тебя, змея хромого, пригрела на своей груди?! Ить ты не на одну ногу костыляшь, ты на всю свою совесть падаешь. Кто ж это тебя, уroda, столь шибко полюбил, что и совесть потерял – среди ночи шататься?

– Да спичек кто-то приходил попросить, – не вытерпела, пояснила тогда Мария и натянула на голову одеяло, поскольку знала, что никакое пояснение мать не успокоит, пока не наорётся. И Лопаренчиха тогда не остановилась:

– Спичек?! У нас чё, мешками спички по углам стоят, шкура ты барабанная! Решил спичками Маньку дурачить?! Да она, захочет, сама кого угодно в любое очко вставит...

– Григорьевна! Опомнись! Чего ты лаешься на всю улицу?

Кто-то одёрнул её за рукав. Лопаренчиха огляделась, поняла, что стоит у водокачки с пустыми на коромысле вёдрами.

Представьте себе солончаковую пахоту, размытую осенними дождями. У вас получатся бывшие улицы города Татарска. Когда же наступали холода, дороги, не замётённые ещё снегом, превращались в сплошные ухабы.

В те времена купленные в районном земельном отделе талоны давали право наполнить на водокачке пару вёдер любой ёмкости. Потому хозяйки ходили по воду с двенадцати-, а то и пятнадцатилитровыми бадьями. Так возникло местное искусство – в любую погоду донести до дому полные в дужку вёдра. Многие донашивали, не сплеснув на дорогу ни единой капли.

Фетиса в этом свершении была не хуже других.

И теперь с полными вёдрами она ступала так, что вода слушалась каждого её движения. Сама же она думала о том, что память – не водица: не омоешь ею душу, не выплеснешь ополоски...

Подобные мысли всё чаще чёрными птахами стали запархивать ей в голову, хотя никакими зёрнами она их не манивала. Наоборот – гнала прочь. Да и что бы изменилось, приручи она их? С зятем давно покончено. После Сергея Мария уже успела проехаться по жизни на двух прожигах. Нынче отыскался в Омске вроде стоящий мужик: за три месяца две посылки переслал...

И тут Лопаренчиха вспомнила о письме, которое поутру было ею забыто в телогрейке.

Но до письма надо было ещё дойти, и Фетиса опять вернулась к памяти.

Пару лет назад, в тот поганый час, она пугала зятя:

– Я тебя в роно поташшу. Там быстро разберутся с твоими спичками...

Увидев тогда, что Сергей потянулся за костылями, она с криком: «Не ускочишь!» – сгребла их, зашвырнула под кровать и тут же запричитала, издеваясь:

– Несчастный ты мой... Ноженьку-то твою левеньку по дурости твоей же согнуло. Да какой же идиот, кроме тебя, станет девку цельную ноченьку на морозе ждать? Я ить соврала тебе тогда, что Маньки дома не было. Дрыхла она, как сейчас дрыхнет...

И увидела Фетиса, как побелевший зять выхватил из-под себя табурет...

Уже из кухни Лопаренчиха блажила тогда:

– Вон из моего дома! Чтоб сегодня же духу твоего тут не было!

В открытую дверь ей было видно, как зять пытался тогда достать из-под кровати костыли. Как смотрел он потом на Марию, успевшую когда-то во всей своей неповторимой красоте разметаться по широкой постели...

Не догадывалась тогда Григорьевна, о чём думал её зять. А ему хотелось проверить: может, выросли на спине молодой жены чёрные крылья?

За много лет своей горькой к Марии любви ни разу не видел Сергей, чтобы она заплакала. Потому и думалось ему тогда, что ни в каких сказках никакая нечистая сила не льёт слёз...

Лопаренчиха вернулась от водокачки, внесла полные вёдра во двор. Увидела, что в летнике горит свет. Ругнула себя за то, что забыла погасить лампу. Но проходя мимо окна, разглядела внутри Осипа. Он сидел, одетый в свою латаную стёганку, и что-то читал. При появлении хозяйки сунул листок в карман.

– Чего прячешь? Дай-ка сюда!

Осип поднялся, нервно поддёргнул брюки локотками, вытянул из кармана сморщенный, словно побывавший в клейстере, носовой платок. Стал его расправлять, виновато поясняя:

– Испростыл весь дорогами, зашёл сюда веничка глянуть; сходить в баньку – попариться бы. Имеется ль у вас тут банька – общая?

– Банька-то? – прищурилась Фетиса. – Банька – рукой подать. Счас я тебя прям тут и выпарю. А ну, показывай, чё утаил!

Важно обижаясь, Осип опять полез в карман, достал клочок газеты, застеснялся, сказал:

– Для нужника прихватил.

– А чё тогда мудришь? Или не знаешь, что в чужом доме даже таракан хозяйский? Сидишь тут, керосин расходует...

– Керосин? – радостно переспросил Осип и заверил: – Да я тебе достану керосина – хоть залейся.

– Брехло! – с усмешкой сказала Фетиса. – Керосин нонче только на самогон меняют. За деньги-то в ём и рубля обмакнуть не дадут... И неча лампу зря палить. Айда завтракать...

За стол Осип уселся без Фёдора.

– Пошто байбак твой жрать-то не поднимается? – спросила Григорьевна. – Деньгами ли чё ли он у тебя получает?

Осип ответил со вздохом:

– К обеду бы поднялся, и то дай бог...

– Ты ж в баню вроде как настроился?

– То ж я, а Федьке надо телегу подгонять...

– Он чё собрался? Так и будет хорьком вонючим валяться на моей постели?

– Да чёрт с ним! Не трогай ты его, – попросил Осип. – Куплю я тебе и простыней, и остального чего...

– Куплю-облуплю, – проворчала Фетиса и стукнула пальцем по кромке стола. – Гляди у меня! Я брехни не потерплю!

Воды для задуманной Лопаренчихой стирки надо было натаскать вдосталь. После завтрака она опять взялась за вёдра.

– В баню-то мне в какую сторону идти? – спросил уже во дворе Осип.

– Шас-ка влево, потом по улице вправо и прямо. Три заулка пройдёшь и в баню упрёшься...



И ещё сходила Григорьевна по воду, и опять собралась, когда увидела посередке избыного крыльца трёхлитровый бидон. Она хмыкнула, думая – пора бы уже и в бане париться, а он, похоже, за керосином собрался.

Она ухватила бидон за дужку – убрать с дороги, да чуть не опрокинула неожиданную тяжесть. Подняла крышку и поверила скорее нюху, чем глазам. Долго смотрела она в прозрачное нутро посуды. Потом обмакнула палец, лизнула – спирт!

Фетиса унесла бидон в кладовку, навесила на дверь замок. В дом не пошла – не захотелось видеть чужого самодовольства. А зря. Осипа в доме не было. Он сидел в отходнике за сараюшкой – на краешке «пьедестала» и перечитывал Мариино письмо.

«Дорогая мамаша, – с конкретной теплотой обращалась дочка к матери. – Пишу прямо с вокзала. Скоро новосибирский поезд. Попрошу проводницу бросить письмо в Татарке – быстрее получишь. Мне нужны деньги. Николаю жилья пока не дают. Живём у прежней старухи. Бабка сволотная попалась, вечно лезет доглядеть, чем я занимаюсь да что делаю. Откуда бы тогда Николаю всё знать? А тут заявил, что ему за меня стыдно. Я ушла – пусть поищет. Попросилась на ночь к Верке Салтыковой. Помнишь, у которой отец инвалид? Верка говорит, что я ещё красивей стала. Сели ужинать, я, от душевной простоты, всё и рассказала про Сергея. А инвалид этот как завёлся! Вертихвостка, говорит на меня! Тебя, говорит, на одной осине рядом с матерью твоей надо повесить. Оказывается, мы с тобой Сергея загубили. Я не стерпела... А на дворе уже ночь была. Иду – кругом ни души. Какая-то ограда с будкой попалась. Постучала. Сторожиха открыла. Я прикинулась беженкой. Она раскудахталась, давай чаем поить, давай рассказывать: сын у неё на фронте. Карточку достаёт. Ой, какой капитан! И холостой! Я тоже наврала, что одна живу. Сторожиха сказала, что из нас хорошая бы пара получилась. Адрес дала. Я ему фото своё pošлю. Пусть хвастается всем, какая у него невеста. А пока поживу с Николаем. Если мне вернуться в Татарку, там ни одного путёвого мужика не найдётся... Разве что аптекарь. Так он со своей Кларой из одного яйца вылупился. Чего на него рассчитывать... Мария».

Письмо оборвалось, будто яблоко с ветки. Но Осипу вполне хватило прочитанного.

– Ну и ну! – покачал он головой. – Не приведи господи – нагрянет! Натворят они тут с Фёдором, никаким золотым веслом не разгребёшь. Надо устраиваться куда подальше, пока не поздно...

## Глава 5

Начало ноября взялось мудрить: то удивляло ростепелью, то ударяло стужей, да такой, что ночами в небо взлетали световые столбы. Дыханье перехватывало, звуки становились резкими, словно удары тарелок в погребальном оркестре.

Мимо узловой станции Татарская торопились на запад тяжёлые составы. Обратным путём везли раненых солдат, осиротевшие семьи, оборудование заводов, крытое брезентом...

Казалось, мечется туда-сюда один сумасшедший состав-оборотень. Но стоило прислушаться, как тут же приходила уверенность в необходимости происходящего. Эшелоны, спешащие на запад, сообщали колёсным перестуком – сол-да-та-ми, сна-ря-да-ми... Завершал их отчёт паровозный гудок – помо-о-о-жи-им. Встречные им поезда отзывались иным слогом. Такие уверяли – одо-ле-ем, пе-ре-си-лим, по-бе-ди-и-им!

Эти составы проносились почти без задержек. А вот эвакуационным поездам приходилось сутками простаивать в тупиках. По привокзалью бродили беженки. Они собирали всё, что могло гореть. Жгли на пустырях костры, чтобы хоть скудным, но горячим варевом покормить ребятишек. Взрослым же еда тогда перепадала, когда думать о ней уже не хватало сил.

Рельсы от движения колёс наледью не покрывались, зато на деревянных лежнях настывали такие катыши, какие зачастую не брал никакой заступ – приходилось их сбивать ломом, отгребать лопатой. Но боже упаси повредить при этом шпалу!

Четвёртую ночь Фетиса работала на путях. Бригада её была временно расформирована и подчинена дорожной службе. А Лопаренчиха привыкла быть себе хозяйкою. Потому злилась и ворчала – всяк нахал тебе генерал...

Бесило её ещё и то, что нынешней ночью в Славгороде должна была она принять из рук на руки мешок просяной крупы. А уж если говорить об остальном, так выворачивала Григорьевну мездрой наружу невозможность заглянуть в гостевой чемодан. Похоже было, что в нём укрывалась уверенность приобретать не только спирт...

– Эх! Марию бы сюда... – откидывая осколки льда под железнодорожную насыпь, вдруг сказала себе Фетиса и поняла, какой «газетный листок» читал Осип Панасюк, когда неделю назад она застала его в летнике...

Ночь, словно варом, затопила темнотой землю. У пристанционных фонарей хватало сил высветить лишь её студёную плотность. Но Фетисе хотелось переколотить и эти лампочки, чтобы во тьме стало возможным крушить ломом всё подряд.

Когда мимо проходили беженки, она старалась долбить настывы так, чтобы ледяные сколыши летели им прямо в лица. При этом шипела:

– Х-ходят! Ишшут! Никак не нажрутся!

Со стороны работающих с нею рядом женщин наконец послышалось:

– Уймись! Лайка! Креста на тебе нет!

Фетиса ударила ломом так, что тот просёк наледь и застрял в земле. Она попыталась высвободить его, не справилась, ругнулась и только что не бегом кинулась в темноту.

В досаде, сотканной из неугодной работы, упущенного прибытка, тайны чужого чемодана и непрочитанного письма, душа её нарывала и уже была готова отторгнуть накипевшую дрянь. Спазмы закладывали дыхание. Только разум всё ещё не поддавался приступу необузданной натуры.

Лопаренчиха миновала здание вокзала, заметила в стороне прилавок пустого перронного базарчика, добежала до него, повалилась на струганные доски грудью, подвывая взялась кататься по ним головой.

– Эй! Бабынька! – услышала она почти рядом старческий, надтреснутый голос. – Тебя чё, милая, не рожать ли приспичило?

Не поднимаясь, Фетиса спросила:

– А ты повитуха ли чё ли? Подставляй ладони, сщас навалю.

– Тьфу, срамота! Пьянь поганая! – выругался сердобольный дед, но, увидев, что «пьянь» грозно поднимается и расстёгивает на полушубке ремень, затрусил мелким бегом вдоль насыпи, приговаривая: – Царица Небесная, чё деется...

Фетиса догнала бы деда, опоясала бы его ремнём, да оступилась на насыпи, покатила под откос, влетела в сугроб и тут же услышала сверху довольный голос:

– Вот она, Божья-то справедливость...

Покуда Григорьевна кувыркалась в сугробе, платок распустился, опояска потерялась... Такой рассупоней и вошла она в вокзал. Не было у неё никаких сил после душевной встряски привести себя в порядок и вернуться в бригаду...

Кроме одиночества и бессонницы, нет на земле более подходящего места для раздумий, чем зал ожидания. Звуки и лица сливаются в своём изобилии, словно морские волны. Разница лишь в том, что море увлекает человека своим ожиданием чуда; вокзальная же суэта уверяет всякого, что золотая рыбка имеется, но никакого её волшебства не хватит на такую уйму народа. И в этом Лопаренчиха сразу убедилась, постольку в зале были заняты людьми даже подоконники.

Чтобы успокоиться, ей занемоглось всех пересчитать. Но она скоро сбилась со счёта и стала думать: «Понаехали! Утром расползутся по Татарке. А где взять хлеба на такую прорву? Скоро всю Сибирь выжрут! Одного того бугая целой буханкой не уговоришь, – отличила она глазами крепкую шею сидящего к ней спиной парня. – Да и пигалица его не говно клюёт...»

Последние слова Григорьевна додумывала медленно, узнавая в «пигалице», одетой в белый заячий полушубок и такой же беретик, накинутый бекренем на копну каштановых волос, дочь свою Марию. Она подобралась к парочке вплотную, услышала басистое: «Ну чё, пойдём», – затем дразнящее: «Погоди, надо узнать в диспетчерской, когда мать дежурит...»

Эти слова дали Фетисе понять, в чём суть разговора.

– Опять новый зятёк завёлся, – прошептала она. – Не-ет! – возразила, не зная кому. – Не пушшу! Катитесь вы оба к чёртовой матери!

Она заторопилась отступить прочь. Подумалось – надо быстрее отпроситься у начальства, чтобы явиться домой прежде Марии с новым хахалем. Но как назло, парень оглянулся и басовито спросил именно её:

– Эй, бабка, ты не знаешь, где тут диспетчерская?

– Ты меня спрашиваешь? – от неожиданности показала Фетиса на себя. Когда же парень кивнул, взорвалась сдуру: – Я те чё тут, дежурная?!

Вопрос её прозвучал так гулко, что Мария отшатнулась от парня, подхватила на ноги и заверещала плаксиво:

– Мамоchка! Он меня с вечера домой не пускает...

Этого хватило, чтобы Лопаренчиха хрипло громыхнула на весь вокзал:

– Тебе што, шалашовок мало?!

Парень покраснел, стал подниматься. Фетиса вспомнила зятев табурет и заблажила:

– Ми-ли-ция!

– Ну и ну! – покачал головою парень. Вскидывая одну ногу и опадая на другую, он пошёл прочь.

Фетиса поспешно устроилась на его место и ехидно спросила:

– Без хромых никак не живём?

Потом приказала, уже тихо:

– Рассказывай! Чё у тебя опять? От маёра, поди-ка, сама увильнула, сучка палёная?

Мария выпучила даже в гневе прекрасные глаза, выгнула маленькие холёные ладошки, заговорила с крайним нажимом:

– А то и случилось, что ты меня сучкою сделала! Кто ещё до Сергея приводил ко мне Аркашку? Кто Степана привечал? Ну?! Тебе женихи-то всё денежные были нужны! Всё искала, как бы меня подороже продать... Не ты ли в Омск за Николая меня спихнула?

– И Николай тебе не угодил... – удивилась Лопаренчиха. – Ты же сама психовала, что я тебе дома житья не даю.

– И не даёшь! Ты же вечно: ах, доченька, ах, красавица, тебе ж только в золоте купаться... Ах, какой у Лопатихи маёр остановился! С бронью... Р-растуды его в бронь! Скажи своему маёру спасибо, что он красавицу твою на матерках из дома выбросил... Тебе Сергей был хуже всех, а я от него и «дуры» ни разу не слышала...

– Зато меня чуть табуреткой не захлестнул...

– Ври! – ощерилась Мария. – Я тогда не спала. Поделом бы тебе было и табуреткой... Свинье в огороде одна честь – полено!

Она рванулась подняться, но мать удержала её, говоря примирительно:

– Сядь! Не дёргайся! Дело есть...

– Ночь не спала, – капризно отозвалась Мария, – ещё ты тут со своим делом... Чё опять придумала?

– А то и придумала... Хрен с ним, с маёром! На твой век дураков хватит... Ступай домой. Но предупреждаю – у нас постояльцы.

– Какие ещё постояльцы?

– Беженцы.

– Поди, в комнату пустила?

– Нет, на улице буду держать...

– И надолго они у нас?

– Как придётся... Сам-то Осип работать намерен. А что сын у него Федька... Если не врёт, то родимчик его колотит. Хотя на вид бугай-бугаём.

Говоря, Фетиса достала из кармана клетчатую тряпицу, что служила ей для носа, взялась рвать на полоски, поясняя:

– Ремень потеряла, подпоясаться надо. У меня смена не кончилась, так что ступай без меня. Да смотри! Поласковой там... с родимчиком-то.

– Опять сватаешь? – поморщилась Мария. – Он же припадочный?

– А тебе чё? Только хромых подавай? И вообще... Не тот урод, кто кос, а тот, кто бос... По мне-то, мужик пущай хоть узлом завязан, было бы чё развязать... А что родимец у Федьки, так он, похоже, бумажный, родимец-то. Осип-то, скорей всего, дёржит сына при себе за чербера.

– За кого?

– За кобеля трёхглавого!

– Чтобы тебя, что ли, никто не спёр? – засмеялась Мария.

– Да уж! Языком твоим только железо рубить, – сказала Фетиса и со словами «мне пора» поднялась идти. Однако опять села, притянула к себе дочку, припала губами к её уху и стала что-то нащёптывать...

Мариины брови вскинулись, на смуглом лице заиграл румянец, прядь изумительных, каштанового цвета, волнистых кудрей выбилась из-под беретика... Сидящий напротив страшенный мужик проснулся, увидел Марию, не поверил в её красоту, сказал: «Иди ты!» И опять уронил голову.

А Фетиса продолжала шептать:

– Мало ли чем набит чемодан... Послезавтра – седьмое ноября! Спирту в кладовке – хоть залейся... Упоить обоих – и всё!

– А, может, лучше так... – предложила Мария. – Прямо сейчас я захожу в аптеку, прошу у Бориса Михайловича люминалу...

– Не переборщить бы с твоим люминалом! – встревожилась Лопаренчиха.

– Здравс-сте! Так бы все от снотворного и помирили... Я ж не горстью буду сыпать...

– Ну, гляди, – уступила Фетиса. – Дело твоё...

## Глава 6

Городок, убранный свежим снегом, полыхал на раннем солнце кумачом лозунгов. Каждый второй из них гласил: «Да здравствует XXIV годовщина Великой Октябрьской социалистической революции!»

«Двадцать четвёртая, – думала Мария, шагая Володарской, главной улицей города Татарска. – Настанет ли она теперь, моя ровесница – двадцать пятая? Да и надо ли? Всё равно поголовно всех счастливыми не сделать... Да уж! Сколько шавку ни стриги подо льва, всё жмётся до хозяйского подола... Может, хоть мужики настоящие появятся... А то наши-то... Поразвешат красных тряпок и скажут... Дикари чёртовы!»

Мария из руки в руку перекинула дорожную сумку и стала размышлять дальше:

«Доскачесь... Покажет вам немец праздник покраснее этого... А я не буду Марией, если сегодня же не облапошу аптекаря, а с его помощью и гостей...»

Из примет и случайностей у Марии давно сложилось мнение, что аптекарь Борис Михайлович появляется на улицах Татарска только для того, чтобы увидеть её, Марию. Она же всегда представляла его (был бы он поближе) не иначе как белым плюшевым медведем...

Теперь же, подходя к аптеке, она представлением своим утонула в его мягком тепле настолько, что, коснувшись чего-то щекой, не отстранилась, только повела томным глазом и увидела перед собою морду одноглазой чубарой лошади, которая фыркнула и спросила её, пошевелив толстыми губами:

– Милая, куды ж тебя несёт?

Мария отпрянула. Рядом с кобылой увидела старика, похожего на Деда Мороза. Он хитро улыбался и продолжал говорить:

– Такой красавице да с моей Сонькой целоваться. Дай-ка лучше я тебя расцалую.

– Пень трухлявый! – огрызнулась она. – Раскорячился по всей дороге...

Дед засмеялся, а Мария обнаружила, что стоит она против аптеки, над входом которой полощется на ветру красный флаг.

Взойдя на высокое крыльцо кирпичного особняка, Мария обернулась: старик, прихрамывая, оправлял в плетёной кошеве меховую полость, прикрывая ею заднее сиденье.

«Ещё один колченогий, – подумалось ей. – Вся, бл... Россия хром да калека – нет доброго человека...»

Чистая, в зеркальных полочках аптека была свободна от посетителей. Две белые двери по обеим сторонам застеклённой лицевой стены таили позадь себя глубину аптекарского дома. За прилавком собственной персоной стоял хозяин аптеки Борис Михайлович.

При виде вошедшей он медленно всплеснул руками, губы его образовали жирный полумесяц, лежащий на спине с задранными ножками.

– Господи Боже ж мой! – воздев глаза к потолку, произнёс он так, словно Создатель квартировал у него на чердаке. – Имею ли я возможность верить своим глазам?!

Будь провизор юным кобельком, он наверняка рванул бы облизывать вошедшую. Но в нём уже состоялся тот возраст, который приходилось уважать, и в первую очередь самому хозяину.

Не потому ли, сдвоенный отражением застеклённого прилавка, он показался Марии хотя и карточным, а всё же королём? Однако из-за прилавка выдвинулся ей навстречу этакий белый, щедро лепленный снеговик, вознесённый на пару тёмных конусов, называемых штанинами брюк. Из-под них выглядывали бантики шнурков. Эти бантики сразу в глазах Марии развенчали короля. Она протянула аптекарю тыльную сторону ладони, даже не соизволив снять перчатку. При этом ей подумалось: «То ли ты заматерел Борис Михайлович, то ли ещё потолстел?»

– Господи Боже ж мой! – повторил аптекарь, принимая в бархатную свою пригоршню крохотную руку Марии. – Вы думаете, ч-что маму родную мне хотелось бы сильнее видеть, чем вас? Да не-ет же... Без вашей красоты я забыл, ч-что я должен считаться мужчиной. Зачем мне такая жизнь? Фу на неё, да и только.

В разговоре он опирался на звук «ч», как барин на ореховую трость. А междометие «фу» напомнило Марии кривую лошадь. Однако оба аптекарских глаза были на месте, и Мария увидела в их глубине отражение своего лица, свежесть которого была примята беспокойной ночью. Потому она поторопилась объяснить:

– Я только что с вокзала.

– Ка-ак! И сразу ко мне?! – восхитился и озаботился аптекарь. – Ч-что, нужда какая имеется?

– Соскучилась, – наклонив голову, увилинула Мария от прямого ответа.

Губы Бориса Михайлова загнулись ухватом. Послышался ласковый стон:

– Ах, озорница! Неужто не забыла бедного провизора?

«Идиот! Что ты для меня сделал, чтобы так уж и не забывать о тебе?» – подумала Мария, но на всякий случай опустила ресницы. Аптекарь понял это по-своему: мягким мизинчиком он приподнял её лицо, чуть слышно произнёс: «Благодарю» – и коснулся тёплыми губами её щеки.

«Как раз туда, куда кобыла...» – подумала Мария и тихо засмеялась.

Смех ободрил Бориса Михайловича, он приложился к её лицу подольше и покрепче... но кто-то заговорил за одной из белых дверей. Аптекарь отлип от её щеки, повлёк Марию за другую дверь, нащёптывая:

– Не пугайся, Мусинька, у меня никто красавиц не кушает...

За белой дверью оказалась абсолютно белая комната. За белой ширмой – белая вешалка, зеркало, умывальник. И внутренняя белая дверь, которая вела в глубину обширного особняка, что вмещал в себя и глубину аптеки, и семейные уголья её хозяина...

Пока Мария снимала свою полудошку, оправляла причёску и свитер, Борис Михайлович, отворив эту дверь, заговорил врасстяжку:

– Кла-ра-а! Будь хорошей девочкой: попроси Феню приготовить достойный завтрак. У меня теперь нужный человек...

– Кла-ра-а! – погода, договорил он. – Девочка моя, потом сама пройди в залу. А то у меня имеется очень важное совещание. Ты слышишь?

– Я что? – отозвался голос Клары. – Я когда-нибудь была глухой? Трудись, моё солнышко. Дело есть дело...

Если бы удалось поставить на одни весы эту «девочку» и это «солнышко», то в них двоих оказалось бы не меньше пятнадцати пудов. И почти такой аптекарскую чету Мария помнила с детства.

Самого же Бориса Михайловича она замечала уже тогда, когда пошла в первый класс. От аптеки школа находилась совсем близко; ребята бегали туда покупать мятные таблетки. Машеньке это лакомство часто доставалось даром. А спустя лет семь-восемь Борис Михайлович уже явно выделялся вниманием своим Марию среди сверстниц.

Когда же, по окончании десятилетки, она устроилась в кинотеатр буфетчицей, аптекарь как-то летом позволил себе покинуть киносеанс до окончания, чтобы предложить проводить Марию домой. Но её (уже тогда) поджидал на улице ещё вполне здоровый студент Казанского университета Сергей Быстриков – парень, из-за которого она была окутана завистью сверстниц. А для тщеславных умов чужая зависть равна славе. Потому Мария чувствовала себя на щите, который высоко был поднят авторитетом Сергея. И хотя самого «щитоносца» она не больно-то жаловала, однако подпустить аптекаря близко не решилась. Да и он особо не настаивал...

Теперь же, пока Борис Михайлович вёл разговор со своей Кларой, Мария устроилась на кушетке, откинувшись на стенку, которая оказалась боковиной тёплой печи. Ей сразу захотелось вздремнуть. Но аптекарь, завершив разговор, уселся напротив неё, нежно взял прохладные руки, стал дышать на них – согревая. Она же, оглядывая склонённый перед нею белый его колпак, его бритую шею, думала: вот что значит красота! Тем временем Борис Михайлович развернул её руки ладонями кверху, каждую серёдку поцеловал, потом принялся пощекотывать их языком.

«Облизывай омскую грязь, – думала Мария, улыбаясь и пошевеливая пальчиками под его жирным подбородком. Когда же край белого колпака потемнел от испарины, она удивилась: – Э, как тебя забрало! Надо же так любить!»

А Борис Михайлович уже целовал её запястья, её подлокотные ямочки... Благо рукава свитера были податливы. Скоро мягкие руки аптекаря уже блудили по её спине... Она же думала о нём, как ленивый хозяин о голодной скотине, – потерпи, успеется... Но мягкие руки донесли тепло до её груди. Мария обмякла и понесло её не то в рай, не то к чёртовой матери...

Когда белая за ширмою дверь увела аптекаря в глубину дома, прихорашиваясь, Мария подумала: «Вот бы сейчас выскочить в “залу”! Здравс-сте, Клара Абрамовна! Отныне я ваша родня... Сколько бы валерьянки потребовалось!»

Она раскинула по плечам удивительную гриву своих волнистых волос, прошла до окна, чуть отодвинула занавеску.

Аптечный двор, огороженный крепкой кирпичной, как сам особняк, оградой, заливало ярким солнцем. У такого же кирпичного склада сидела цепная собака. Она смотрела за угол дома и дёргала загривком.

Вот псина рванулась, но крепкая цепь чуть не опрокинула её навзничь. Из-за угла, в накинутах на плечи пальто, вышел Борис Михайлович. Знакомые бантики шнурков трепыхались под штанинами брюк...

«Даже бантики не развязались», – с некоей досадой подумала Мария о только что минувшем.

На подошвы аптекарских ботинок налипал снег. Они скользили, принуждали хозяина поддёргивать ногами. А Мария смотрела и думала, что она – не снег, что просто так её не страхнёт... Потому даже не оглянулась, когда Борис Михайлович вернулся в комнату.

Обнимая Марию со спины, аптекарь уткнулся лицом в копну её волос. Она же подумала: хорошего помаленьку – и повела плечом. Но когда обернулась – ахнула! На столе стояла ваза с виноградом. В каждом его плодике живою каплей отражалась красная этикетка стройной бутылки вина.

Отщипнув ягоду, Мария раскусила её, посмотрела на пальцы, словно испугалась увидеть кровь, потом произнесла: «Ну, вообще!» Глядя на этикетку, вспомнила красный флаг над входом в аптеку. И ещё сказала: «Вот так-то!» Этим она словно преподнесла кукиш всем, кто свято верил в красный цвет...

Борис Михайлович, похоже, догадался, о чём её восклицания, хмыкнул, открыл штопором бутылку, наполнил бокалы, произнёс:

– С праздником! С нашим праздником, – уточнил он.

Вряд ли ведал аптекарь о Мариином житье-бытье, но, уточнив смысл тоста, полуспросил:

– За покой наших близких? Дорогая!

Мария вскинула брови, соображая, кого он имеет в виду с её стороны. Поняла намёк – Сергея! И сразу прояснилось то, что никому не следует моститься ехать по жизни в аптекарских санях. Не ответив, она махом выпила вино, чем обескуражила Бориса Михайловича. И дальше, как бы митингуя, налила себе ещё.



– Мусинька! – поторопился беспокоиться Борис Михайлович. – Я ч-что-нибудь не угодил?! Прости за-ради бога! Приходится подумать, ч-что совсем не то время, чтобы пренебрегать покоем.

– Чьим? – вызывающе спросила Мария.

– Разумеется, чьим, – не решился аптекарь назвать имени. – Конечно, покоем близких людей.

– Уже успокоились! – торжественно соврала Мария.

– Ой, как я довольный! Как это похвально! – с радостью обманулся аптекарь.

Мария же из его восторга вдруг поняла, что никто ни из каких саней высаживать её не собирается. Наоборот, проявляют (вдвойне) бережное к её покою отношение.

– Мусинька, – продолжал аптекарь. – Ты меня прости, ч-что я веду себя юношей. Но сегодня в тебе я обрёл сразу двух необходимых мне людей! Пойми: в Казанихе, в деревне твоего мужа, в корпусе бывшего маслозавода, захотелось верхним людям быстро оборудовать детский дом. Уже вовсю ремонт идёт. А ч-что касается завхоза? Сама подумай – разве хорошо такое место дарить кому чужому?

Мария поняла окончательно, что аптекарь намерен спрятать её для себя за Сергеем. Тот скоро как пару лет работает в деревне Казаниха школьным директором. А чтобы она в такое тяжкое время имела и довольство, и свободу передвижения, с ходу решил пристроить её в детдом завхозом!

Однако, желая показать себя уросливой кобылкой, а не рабочей клячей, Мария решила подождать, когда аптекарь выскажется окончательно. Тот понял, что ему как бы не совсем доверяют, сделал обиженное лицо, спросил:

– Я ч-что? Я ерундой занимаюсь? Или кто сказал, ч-что Борис Михайлович не умеет быть дальновидным? Да при такой службе, какую смею тебе предлагать я, можно купаться как сыр в масле! А пожелаешь, так я сам стану тебя купать...

Полный угоды аптекарь перестарался в своём обещании настолько, что сам и засмеялся.

– Так уж и купать? – ответно улыбнулась и Мария.

– Конечно! Я же буду вокруг тебя много жить. И не кем-нибудь – куратором! Опекуном по сути... для детей. А такого, как ты, ребёнка, я и вовсе никому не позволю обидеть.

«Чёрт пузатый! Виноград среди войны, сиротский стол-самобранка, чужая жена-любовница...» – прикинула в уме Мария, а вслух сказала:

– Как ещё на это мой Сергей посмотрит...

– Мусинька! А ты согласишься, поезжай. Таки осмотришься. Издалека-то все мелочи большими кажутся. А там всё на месте и примеришь...

– Ладно. Примерю... Но если что – откажусь!

## Глава 7

Длинным коридором, миновав несколько прикрытых дверей, Борис Михайлович вывел Марию на заднее крыльцо аптечного особняка. Во дворе от кирпичного склада рванулась к ним овчарка, захрипела под цепью, по приказу хозяина вернулась на место...

Мария вспомнила о снотворном только тогда, когда оказалась вместе со своей дорожной сумкой за воротами. В надежде успеть вернуть аптекаря она позвала его по имени, но ей ответил собачий лай. Тогда она ударила по обитым листовым железом воротам своей сумкой. Но результатом оказалось только то, что из неё вывалился на снег весомый пакет. Мария подхватила его, вернула обратно и шагнула от ворот прочь.

Этим временем в аптечный переулок свернула с главной дороги чёрная бабка, пошла навстречу. Поравнявшись с Марией, она вдруг подняла над своей головой суковатую палку и прошамкала:

– Не на пользу красота-то! Не тебе бы, дурёхе, её носить...

– Пошла к чёрту! – огрызнулась Мария и торопливо направилась своей дорогой.

За поворотом намерилась она вернуться в аптеку, но на высоком крыльце стоял хозяин кривой лошади. Он разговаривал с мелким мужичком в шафрановом берете. У ступеней крыльца, одетый в собачью доху, топтался цыганистый парняга лет двадцати. Он что-то широко жевал.

«Ничего себе жеребчик!» – подумала Мария и сразу обрела привычную походку настоящей женщины.

«Жеребчик» уловил эту перемену – в глазах проснулся интерес. Край губы хищно приподнялся, показал крепкие зубы. Словно в клыках аптекарской собаки, Мария почувала в них животную силу.

«Пошёл к чёрту!» – повторила она мысленно посыл, только что адресованный старухе, и уже походкой царицы перешла через дорогу на другую сторону улицы.

С полгода Марии не было в Татарске. Но ни ласкового взгляда, ни тёплой улыбки не дождался от неё родимый кров. В лице молодой хозяйки была только настороженность, как у блудливой кошки, попавшей в чужой двор.

Оттого, знать, дом, вместо широко открытой двери, подставил ей кукиш навесного замка. Её это несколько не огорчило. Наоборот: порадовало, поскольку она оказалась на месте до прихода постояльцев.

Мария пошарила пальцами за наличником сенного окна – ключа на условленном месте не оказалось. Тогда она пошла в летник, где взялась обшаривать закутки, ругаясь на мать:

– Захламила всё, паразитка!

Из закутков её старанием выпархивали на середину летника грязные тряпки, драные чулки, полоротые обутки...

Увидела зацепленную шиворотом за гвоздь на стене ватную заношенную зелёную безрукавку. Пошарила в её карманах, заглянула в печное поддувало. Ключа нигде не оказалось.

От зряшных усилий заболела голова. Мария присела на скамью. Какая-то битая на полу склянка поймала тонким сколом солнечный луч, пустила ей прямо в глаза.

– Чё я сижу-то? – спохватилась Мария и заторопилась к дому. По дороге прихватила под навесом полено и с ходу хлестанула им по сенному окну. Заодно со стеклом высадила раму. В сенях приземлилась умело, только берет свалился с головы. Потери она не заметила, а сразу оказалась в доме...

Чемодан прятался за диваном. Кроме проволочной обмотки, нутро его караулил ещё и внутренний замок. Шпилькою она справилась и с этим сторожем. Укладка, словно распластан- ный по земле пьяница, тут же отдала себя во власть «Маньки-потрошителя». Вот только пол- нили чемодан не золото-брильянты, которые жаждала обнаружить посягательница, а стандарты аптечного зелья: порошки, таблетки, пилюли... И россыпью, и пачками...

На упаковках она прочла надписи: «первитин», «морфий», «опий»... И даже «цианид калия»!

– Мать честная! – догадалась кладоискательница. – Так это же они! Ну конечно, они топ- тались у аптеки... Ни хрена себе постояльцы! Затопчешься небось... Целый чемодан! Попро- буй-ка продать... Ясно, что сбыть такую прорву через аптеку проще... Ну и ну! Никаких Каза- них! Тут поживу – прикину, что мне с вами делать...

Крышка чемодана не хотела сразу прикрыть потревоженное нутро. Пришлось придавить её коленом. Старательно обмотав укладку той же проволокой, Мария отправила чемодан на прежнее место. Мозги её сделались настолько размазанными по идеям, словно она приплюс- нула в чемодане своё уmozрение. Эта неопределённость ломотою вступила к ней в шею, в пояс- ницу. Лавина невозможности разом определиться в своих действиях повалила её на диван...

Сколько она так пролежала, глядя в потолок, один домовой считал. Только он один и понимал, расшиб ли хозяйку паралич или хватил столбняк. Не слыхала она ни ребячьего на улице гомона, ни взлаивания собак, ни скрипа калитки, ни чьего-то разговора во дворе... Войди в дом чёрная старуха с косою, Мария показалась бы ей уже отработанной...

И в самом деле – кто-то вошёл в дом. Этот кто-то придержался у порога комнаты. Затем приблизился к дивану так, что Марии пришлось вдохнуть его выдох... И вдруг её накрыла медвежья тяжесть, которая взялась тискать, бормотать ей что-то на ухо, срывать с неё то, из чего пару часов назад так нежно вынимал её аптекарь.

Мария поняла, что избавиться от этой дурной силы у неё не получится. Тогда она приот- крыла глаза и узнала: её решил немедленно присвоить цыганистый здоровяк в собачьей дохе... В его широких, незрячих от страсти глазах она увидела своё прекрасное отражение, поняла нетерпение насильника и вынуждена была его простить...

Воссевши на диване после такого необузданного наказания за красоту, Мария поглядела на ходики, удивилась:

«Мама родная! Столько... за три часа! Ничего себе! Управилась!»

Потом она посмотрела на парнягу, который, так и не сняв собачьей шубы, развалился на кровати. Уши у него всё ещё не потухли от работы. Они были словно проварены в малиновом соку.

«Сосунок! – решила Мария. Но тут же отдала ему должное. – А Борису Михайловичу, однако, до него далековато...»

– Сколько тебе лет? – спросила.

– Кукушку пытай, – усмехнулся ответчик, – она маленькая. А у меня уже всё выросло.

Он хохотнул, тоже глянул на часы, ругнулся: «Подь ты вся!» Подхватился на ноги, достал чемодан, поспешно пересёк комнату и от кухонного порога сказал:

– А ничего! Полюбовно получилось... Жалко – тороплюсь...

Фёдор ушёл, а Мария заговорила:

– Щенок! Совсем не понял, с кем связался... Времени у него, видите ли, не хватило! Понятно, куда полетел... Ох, Борис Михайлович! Всё и всех под себя гребёшь... Ясно, почему он топтался у аптеки. Ждал, когда ты «нужное совещание» со мной закончишь... И за чемоданом этот щенок тобою поскорее всего послан. Понял, старая крыса, что я быстро с чемоданом разберусь...

«А-а! – вдруг ошарашила её догадка. – Так вот почему ты решил меня сплавить в деревню! Чтобы я вам тут не мешала торговать... Да я сейчас из тебя из самого завхоза сделаю...»

Мария не могла понять, куда делся её берет, потому поверх головы накинула платок, сунула ноги в боты. На крыльце она запнулась за свою же сумку, зачем-то села на ступеньку, спросила упавшую на юбку снежинку:

– Разве можно так... со мною?..

Снежинка подобрала ножки-лучики, сжалась, обернулась бисеринкою и исчезла, оставив после себя крохотное пятнышко.

– Нет! – сказала ему Мария. – Так дело не пойдёт! Сейчас я вам всем организую виноград-малину красную! – уверенно пообещала она, подскочила, кинулась за калитку...

Переулок, где стоял её дом, не был длинным – до аптеки бежать минут пять, не больше. Марии оставалось только выскочить на главную улицу да пересечь её наискосок, как вдруг она услышала знакомый голос:

– По-оспем! Солнце эвон где только ешшо пляшет...

Сидя на передке саней, давешний старик показывал кнутовищем в небо. Его лошадка тем временем успела кивнуть растерянной Марии одноглазой мордой и пробежать мимо. В кошеве сидел знакомый кучерявый верзила в собачьей дохе, чуть ли не под мышкой у него ютился укутанный в тулуп мужичонка в шафрановом берете. Это были, как сделала Мария вывод со слов матери, сын Фёдор да его отец Осип. И она не ошиблась.

Быстрая на ноги, она крутанулась – догнать убегающий от неё возок, да проехала по скользкой колее и расстелилась плашмя вдоль дороги...

Ей казалось, что тому, как она кандыбала обратной дорогой на ноге с разбитым коленом, был свидетелем весь, хотя и безлюдный, переулок. Но Мария знала: за её спиной оживают на окнах задергушки, дают простор насмешливым глазам лицезреть её просак. Уж она-то ведала, что её тут никто никогда и не любил и потому не ждал. И всё из-за Сергея Никитича – будь он трижды неладный!

Сумка так и стояла на крыльце. Даже Фёдор её не пнул. А вот в сенях заячий берет, забытый ею на полу, хранил след мужского сапога. В кухне Мария вынула из сумки аптекарев свёрток. В нём оказалась фляжка со спиртом. Мария набулькала только что не стакан, разбавила водой, выпила...

Очнулась на полу. Не сразу могла понять – утро на дворе или вечер? Слабый свет резал глаза. В голове работала ржавая мясорубка. Она перемалывала мозги. Но тошнее того были падающие на сторону стены, которые никак не могли упасть. И она с ними заодно падала и не могла упасть. И всё это валилось и не сваливалось в муторную глубину...

Наконец стало совсем дурно, в горло ударило изнутри смесью огня и падали. С каким-то куриным клёкотом жижа вырвалась наружу. Утопила в себе прядь её волнистой каштановой гривы. Стало немного легче, и она, сообразив, что лежит в кухне, переползла в комнату, добралась до дивана, привалилась к сиденью спиной.

Вошла мать, у которой лицо было такое, словно она сама только что опомнилась от перепоя.

– Где Осип?! – спросила сквозь зубы.

Мария ответила с присвистом:

– Удрал твой хахаль. И следы, фю-ю, замёл...

– Ты?! Выгнала?! – утвердительно спросила Фетиса.

Жилы на её горле натянулись, и Мария сообразила, что сейчас любой ответ для матери прозвучит надругательством над ею придуманной истиной. И тогда Мария мстительно спросила:

– Ты чё? Замуж, что ли, за него собралась? Ба-атюшки мои! Старому ведру и говно по нутру?

От крепкого удара ногою в бок Марию опять стошнило. Обычно крикливая, на этот раз Фетиса молча повторила пинок и пожалела, что обута в валенки, а не в сапоги. После ушла в летник – от греха подальше...

## Глава 8

Когда Сергей Быстриков привёл Марию знакомить со своими родными, дома случилась только мать, Елизавета Ивановна, да ещё четырёхлетняя его племянница – Нюшка, которая частенько гостевала у деда с бабушкой.

Нюшка сидела на полу среди избы, ела только что собранный на огороде зелёный горох. Навсегда запомнилось девочке это знакомство, этот разговор.

– Ты и есть Лопаренчихина дочка? – спросила Марию бабушка.

– Я и есть, – ответила та.

– Мать-то всё приторговывает?

– Само собой...

– И чем она теперь пробавляется?

– Да чем подвернётся...

Ещё запомнилось Нюшке то, с какой небрежностью спросила Мария, осмотрев избёнку будущей родни:

– А почему у вас одни только книги?

– Потому что и ум, и совесть, – вступил тогда в разговор уже больной дед Никита, – живут не в толстом кошельке...

– Зачем вы так? – после ухода Марии упрекнул родителей Сергей. – Я люблю её.

– Да она тебя не любит, – решила тогда бабушка. – Упадёт она на твою жизнь, как валун на родник...

– Не пойму, чем она вам негодна?

– Неудобной бывает лошадь, корова. Взял да продал. А как может быть неудобной сыновья любовь? Этакая горища! Не сдвинешь, не перепрыгнешь и за всю жизнь не обойдёшь...

Не много чего поняла тогда Нюшка из этого разговора, но детская память сохранила и приобщила услышанное к событиям собственной её жизни.

Спустя время Нюшка опять гостила в Татарске. Деда уже не было – изболелся. Девочка в тот день одна сидела на сундуке у окошка. Все большие ушли – кто в школу, кто на работу.

Ей было наказано – никого чужого в дом не впускать. А тут мимо окон прошла, уже вроде как своя, тётя Мария. Нюшка без особой охоты открыла ей дверь и опять устроилась на сундуке.

– Ты одна? – спросила Мария.

Нюшка промолчала.

– Бабка-то далеко ушла?

– Не знаю, – насупилась девочка.

– А дядя Серёжа пишет домой или нет?

– Пишет.

– Бабушка читает? Только не ври! Она же любит читать вслух.

– Читает.

– Не помнишь, о чём он пишет?

Мария намерилась погладить Нюшку по голове, но та отстранилась и забубнила:

– Книги мои в кладовку не выноси, мыши источат... Кроме службы директора я взялся преподавать физику... Живу при школе...

Такая скучная информация не устроила Марию. Захотелось узнать:

– Куда письма бабка твоя прячет?

– Не знаю, – решительно ответила Нюшка, хотя видела, что бабушка часто просовывала письма за зеркало.

– Зна-аешь! – протянула Мария. – Тут они, скорее всего, под тобой, – похлопала она по крышке сундука.

Нюшка смолчала.

– А ну,пусти! Дай – погляжу!

Но девочка мотнула головой:

– Не-а. Бабушка без разрешения никуда не велит лазить.

– А ты ей не рассказывай.

– Она сама догадывается.

– А конфетку хочешь?

– Не хочу.

– Врёшь, – постаралась улыбнуться Мария, начиная нервничать.

– Сама врёшь!

– Ах ты, зараза!

С этими словами Мария силой ссадила девочку на пол, поскольку та не захотела встать на ноги. Но не успела она путём дотронуться до сундука, как Нюшка поднырнула ей под руки и животом легла на его крышку.

Мария вскинула кулак, но ударить не посмела, а только прошипела:

– Чтоб ты сдохла, змеёныш!..

Всё это случилось ещё весной. А теперь, в начале зимы, Нюшке сказали, что пришла забирать её из госпиталя тётя Мария.

Вообще-то имя – Мария представлялось девочке величиной с Татарскую водонапорную башню. А мелкая её тётка Мария каталась в этой величине, словно огрызок карандаша в стакане. Оттого Нюшка покинула палату нехотя...

Отведённая няней в раздевалку и там оставленная, девочка не спешила одеваться. И тут за дверью восхитился мужской голос:

– Му-усинька!

Нюшка поняла, кому это в коридоре так откровенно обрадовались. Там стояла тётка её Мария, протягивая обе «лапки» навстречу аптекарю.

– Боже ж ты мой! – говорил Борис Михайлович, подходя к ней. – Разве я думал, ч-что на твоих руках такая забота окажется? Можешь ли поверить, ч-что я уже раскаялся?

– Да будет вам... – отвечала Мария. – Теперь уж придётся постараться, чтобы в Казаних поскорее детдом открылся.

– А ч-что? Разве Сергей Никитич уже согласился не возражать?

– Дело его. Пусть возражает. Тогда ему одному придётся племянницу свою поднимать. Я же не смогу справиться разом и с нею, и с делами завхоза. А больше всего я боюсь, что он меня ещё и поучать возьмётся. Это для меня – нож к горлу... Не дай бог, пришлют в детдом ещё и директора сильно правильного... Кстати: назначили кого директором или всё ещё канителятся? А то ведь я не соглашусь окончательно, пока не узнаю...

– Ч-что?! Директором?! Директором кого попало никто не назначит – это моя прерогатива. Директор станет делать, как я ему втолковать захочу...

– Хорошо бы. А то у меня и с Сергеем хватит хлопот.

– Каких, Мусинька, хлопот? Да я тебя научу для него такие картинки раскрашивать, что он будет только успевать любоваться...

– И то! Я не против... – улыбнулась Мария. – Выходит, люди правильно говорят: кому грешника творить, кому ладаном курить?..

– Боже ж ты мой! Да ты у меня мудрец! – воскликнул аптекарь, на что Мария игриво, слышным только Нюшке шёпотом, отозвалась:

– А тебе, любимый, не страшно меня от себя отпускать? Что как слопают твоего мудреца волки... Говорят, их уйма теперь в наших краях развелось...

– Ч-что ты! – не захотел принять такой вероятности Борис Михайлович. – Всякую неделю школьный работник Михаил Данилович туда-сюда ездит – Бог милует. Знаю, что у старика тозочка, как сам он говорит, имеется – Тульского завода ружьё. Надёжное. Может стрелять и пулями, и картечью.

– Старик что? На старика никакой волк не позарится, – кокетливо пошутила Мария.

Аптекарь подхватил её шутку.

– Конеч-чно. А здесь я на тебя готов позариться, – сказал он так, словно на самом деле намеревался проглотить Марию.

– Ладно уж! – сказала она и, прощаясь, тихонько выразила желание: – Надеюсь, скоро увидимся в Казанихе...

Нюшка давно знала аптекаря. Как-то стояла она в очереди за хлебом. На её ладони красовались фиолетовые цифры. С вечера производимая нумерация рано утром строго проверялась, потому всё иждивенчество, вся инвалидность, вся дряхлость человеческая с куриных потёмок толклась у магазина «Сибторг».

Худо-бедно хлеб пока ещё выдавали. По карточкам. Но спички, мыло, керосин – вроде никогда и не были товаром. За какие-то четыре месяца войны люди успели вернуться к берёзовому щёлоку, к огню, взятому у соседа горящими угольками, к сальным фитилькам... Все запасы, в предчувствии долгой беды, стали неприкосновенными. Пряталась и крепкая одежда. Люди надели обноски. Позже прибережённое добро менялось по деревням на картошку, муку, отруби... Селяне от этого не богатели – везли менянное обратно в город, отдавали на толкучке за то же мыло, спички, керосин...

Но где-то же оседало это добро? Появлялись же на улицах меховые дамочки, добротные мужики. Нюшка видела, какими глазами провожала хлебная очередь тех, кто проносил мимо неё свои замороженные высокомерием лица, слышала, как таял среди людей шёпот:

– Вырядилась, курва!

– В шанелку б его, паразита... Ышь! Вышагивает барин-барином...

Как-то заскорузлый пацан, науськанный подобными восклицаниями, подхватил ком земли и цокнул им по «барской» каракулевой ладье. Серо-голубая «корона» соскользнула с лысой головы и рухнула в грязь. Ах, как унижительно было великоутробному хозяину видеть символ своего достоинства повергнутым в глинистую жижу!

Словно дохлую кошку, двумя пальцами, поднял он свой каракуль, угадал в очереди посягателя, приблизился и хлестанул им по задиристой мордахе. Пацан набычился и... врезался головой в огромное брюхо. «Барин» ухватил мальчишку, за уши оторвал от земли...

Вздёрнутый не заверещал, хотя его шея оголилась до ключиц. Толстяк же решил лопнуть от натуги, но дожидаться детского крика. Очередь зароптала. Вдруг кто-то хлестанул рукой по бритому затылку, пацан упал, а Нюшка услышала голос бабушки Лизы:

– Уймись, людоед! С кем воюешь?

Нюшка тут же оказалась рядом с заступницей и пискнула:

– Фашист!

Очередь захохотала... «Фашистом», по разговорам в очереди, оказался аптекарь Борис Михайлович.



## Глава 9

Бараба! Зимней порою она куда как просторней, чем летом. Берёзовые колки, униженные куржаком, сливаются со снеговым половодьем равнины, и не остаётся для глаза никакой опоры. Скользит взор по равнине до самого края земли и дальше того – по раздолью затканых морозной опокой<sup>5</sup> небес...

Смеркалось. Со стороны понижающего солнца тянул ветерок. По тугому насту скользили снежинки. Они вели затейливую игру: каждая вспыхивала цветным огоньком, в любой из них для Нюшки успевал на мгновение открыться сияющий мир. Хотелось заглянуть глубоко хотя бы в одну, открыть чудо... Но для этого нужно было знать заветное слово. В этом Нюшка была уверена, как была уверена и в том, что этого слова она пока ещё не знает. Потому и сидела в кошеве тихо. Настолько тихо, что ей стало казаться, будто она спит и видит сон. Снятся берёзы в сумеречной степи, по которой скользят сани. В глубоком гнезде саней на дорожных взмётах покачивается укутанная в тулуп вовсе не тётя Мария, а Снежная королева! На этот раз она в своё ледяное царство увозит девочку, чтобы заморозить её сердце. Но у девочки имеются приметы другой судьбы. Не зря же на передке саней сидит дед Мицай. Не зря у него за опояской заткнуто кнутовище с кнутом. А ещё, когда старик у почты укладывал в кошеву сумку с письмами, из-под меховой полсти глянуло на Нюшку ружьё. А разве то, как слушается старика его кривая кобылка Соня, и то, что Мицай часто оборачивается и подмаргивает Нюшке (дескать, держись, воробей), ничего не значит? Чтобы в мыслях не собраться «королеве» со своей хитростью, дед Мицай ведёт с нею разговор, перемежая его обращением к лошади:

– Значит, в деревню нацелилась? Будешь при сироте состоять? Ну-ну! В других местах, значит, тебе не пондравилось? Но-о! Чтоб тебя леший понужал!.. А Никитич-то знает об твоей затее? Пошла! Спишь, холера!.. Как ехать мне в госпиталь за Нюшкой, об тебе он ни слова не обронил... Я ж тебя смертным грехом к себе на душу взял... Вот привезу-то Сергею Никитичу подарочек!.. Но-о, нечистая сила! Чёт-тя холера подсекает?.. Никитичем-то было прошено только племянницу в деревню доставить...

Надо заметить: когда в саних, подкативших забрать в Казаниху тётку с племянницей, Мария узнала в Мицае того самого старика, что увёз из Татарска Осипа с Фёдором, она даже обрадовалась ему. Но Мицаев разговор скоро стал раздражать её.

А вот теперь, от злости, она уже рывками подпелёнывает Нюшку в меховую накрыву. Потом сама до бровей уныривается в тулуп.

– Дело твоё... – вздыхает Мицай и ненадолго отворачивается.

И никто, даже сама Мария, пока что не догадывается, что «королеве», укутанной в тулуп, не хочется быть ни Сергеевой женой, ни Нюшкиной тёткою, ни детдомовским завхозом, ни чёртом лысым... Всё противно: и аптекарь, и муж, и намёки старого Мицай... Она никому не способна сейчас признаться, зачем окончательно решила ехать в Казаниху. А решила скорее всего потому, что поняла: туда Борисом Михайловичем направлены работать оба Панаюка.

Вдруг старик, словно проникнув в её недомыслие, спросил:

– А как же омский маёр? Он чё? На передовую от тебя удрал?

Мария дёрнулась; Мицай посоветовал:

– Ты бы уж присосалась бы до кого-то одного. У нас в деревне народ тебе сожрать-то Никитича не даст. Мне Лизавета Ивановна, царство ей небесное, много чего об тебе рассказывала. Вашу-то с матерью семейку вся Татарка от корня знает... Если придётся, я ить знания эти на всю Казаниху растрясусь...

---

<sup>5</sup> Опока – снежные блёстки в воздухе.

Старик отвернулся, помолчал и опять заговорил:

– А может, маёра-то и не было вовсе? Может, собаку твою да кошка родила? Но-о, родимая! Ты ж без вранья, как без сранья...

– Хватит! – не стерпела Мария. – Взялся – вези... Скотина старая!

Из её глотки вырвался пар. Да Нюшке показалось – полыхнул дым.

Пока Мицай разворачивался на козлах, Мария успела поумнеть до тихого укора:

– Постеснялся бы ребёнка.

– Э, не-ет! – качнул головою старик. – Ребёнку вперёд жить... Ему наши речи – как лист на воде: намок – и потонул, и наслоился до поры. Потом наслоения такие помогают разбираться в людях...

– Оно по тебе и видно – чем ты наслоён...

– Чё тебе видно, сова ты слепая? Ты ж бельма-то свои только тогда продираешь, когда очередь подходит на чужих маёров пялиться. В тебе ж с малолетства подлость на подлость наслоилась. Чуток твою душу колыхни, одну муть только и поднимаешь! Взялась кого стыдить! Да я в своей жизни только тем и осквернился, что взялся тебя в Казаниху доставить...

Мария уже ненавидела старика, не знала, как ненависть эту выразить. Она вновь принялась укутывать Нюшку, на что Мицай сказал не оборачиваясь:

– Будет тебе девку-то дёргать! – Затем он понужнул лошадь: – Пошевеливай! Неча прислушиваться ко всякой брехне...

Чтобы не продолжать разговора, старик запел:

И шли два героя и с финскава боя.  
И с финскава бо-оя домой.  
Только ступили на финску границу,  
Как финн меня ранил чи-жа-ло...

В негустых ещё сумерках внимала его пению студёная, пока ещё малоснежная Бараба. Она еле слышно отзывалась эхом чуткого простора:

Одна пролетела, друга просвистела,  
А третья ранила меня!

Нюшке показалось, что она сама побывала там, на финской границе. Может, потому и показалось, что бабушка Лиза как-то при ней пояснила кому-то, что Мицай на той на войне разведчиком служил. «Финским снайпером пораненный, долго до своих добирался, ноги успел поморозить. Обрезали ему пальцы. Вот и кандыбает по жизни...»

И девочке захотелось подпеть старику от него же заученную песню:

Одна нарыва-ит,  
Друга прорыва-ит,  
А третья к смерти сулит...

От песни ли, от Нюшкиного ли подголоска, но Марию вдруг проняло весельем. Вслух, правда, засмеяться она не рискнула. Тихо затряслась под тулупом. И не осознавая почему, но девочка вдруг запела во весь голос:

Лежу я в больнице, на бе-елой постели,  
А доктор подходит, го-во-рит...

Она блажила потому, что не могла простить дедовых обмороженных ног именно Марии. Нюшке хотелось допеть песню прямо тётке в глаза, да Мицай прервал пение и со вздохом сказал:

– Значит, едем, кума; везём воз дерьма... Выгребай, Сергей Никитич!

– Зануда! – выругалась шёпотом Мария, а вслух сказала: – Чего ты лезешь в дела, где собака хвостом не мела? Без тебя разберёмся...

– Ты разберё-ёшься! Ты ж не головою, ты же задницей на свет вылезла. Ну, кто ты против Никитича? Тебе бы не по Омскам чужие хвосты нюхать, не перед аптекарями сиски выстав-  
лять...

– Заткнись! – вдруг заорала Мария.

Кобылка дёрнула головой и остановилась. Мицай перекинул одну ногу через козлы, спросил:

– Ещё как умеешь? По вокзалам ли чё ли приучилась так трубить?

Марию бил озноб. Заметив это, Мицай сказал:

– Никакая ты не сова. Ворона ты трёпаная!

Нюшка вспомнила ворону, которая что-то клевала на бабушкиной сараюшке, и вдруг поняла, что она пожирала Тамаркину шаньгу, что этой птицей была Мария. Нюшке захотелось убедиться в своей правоте. Она глянула на тётку и не узнала её лица: нижняя губы закушена, верхняя растянута в ниточку, нос заострён, глаза побелели...

Нюшка оттеснилась в уголок кошевы, но Мария поймала её за воротник и выдернула оттуда.

– Не трепли девку, – тут же подал голос Мицай, – скотина безрогая!

И видимо оттого, что племянница бесстрашно глянула в её глаза, Мария вдруг завизжала:

– Сам-то... Кандыбало задрипанный! Ноги-то когда сумел пропить? Вот и сиди, указывай своей кобыле под хвост!

Мицай остановил лошадь, сказал не оборачиваясь:

– Приехали. Вылазь! Тут недалеко осталось...

– Я те вылезу! Я те так вылезу, неделю будут по степи искать... А ну, понужай!

– Эхма-а! – вздохнул старик. – Чёрт с тобой! Скажи спасибо, что боюсь дитё заморозить.

Лошадёнка опять взялась перебирать ногами да кивать головой, точно одобряя стариково решение. А Мицай сказал:

– Помяни моё слово, Маруська: сожрёт тебя жись, и нечем ей будет даже до ветру сходить...

Мороз крепчал; лошадёнка поспешала. Старик изредка оглядывался на закат. Мария всё ещё дышала своим угаром. Нюшка жалась в угол кошевы. Показалась луна и дырявым блином стала медленно всползать на небо. А солнце всё ещё чего-то медлило. И вдруг лошадь ржанула, пустилась было вскачь, но в минуту остановилась, задрала голову и задом полезла из оглобель.

– Чего ты, чубарая? Ходи, милая, ходи!

Сонька послушно сделала два скачка и снова полезла из упряжи.

Мицай живо оказался на дороге, стал поправлять сбрую, приговаривая:

– Дурёха! Эка невидаль – волки дорогу перешли. Глянь, когда это было. Оне теперь уж под Еланкою рыщут... Остарела ты у меня...

Старик вернулся на козлы, сказал:

– Давай, милая! Шести вёрст не осталось... Давай!

Но вместо привычной трусцы лошадь рванула и понесла сани, расхлёстывая полозьями по обочинам крутые залысины. Старик не усидел на облучке, повалился навзничь в кошеву. Мария сунулась перехватить у него из рук вожжи, но Мицай отпихнул её, крикнул:

– Держи ребёнка!

Повернувшись к Нюшке, Мария глянула на дорогу, и рот её распахнулся. Но затрепетавшая перед Нюшкой гортань крика не выпустила. Наоборот, как бы втянула его и только секунд через пять громким шёпотом сообщила:

– Волки!

Сразу оказалось, что солнца уже нет. Однако и малокровного пока ещё света луны хватило, чтобы хорошо разглядеть, как снеговой равниной, нагоняя сани, катятся за ними следом три живых клубка.

Мария задышала так, будто не лошадь, а она несла по степи кошеву. Старик ухватил её за плечо, обернул к себе, сунул ей в руки вожжи, крикнул: «Не упусти!» – и поторопился вынуть из-под козел ружьё.

Рискуя на любой колдобине вывалиться из саней, Мицай с колен стал целиться. Но взять зверя на мушку ему мешала завязка от треуха. Боковым ветром заносило её старику на глаза. Он хотел сбросить шапку в кошеву, но её подхватил и унёс ветер. Мицай опять припал к ружью... Волки уже стелились не степью, а дорогой. Было видно, как шевелятся их крепкие лопатки.

– Стреляй! – закричала Мария.

Белый её берет тоже унесло в степь, волосы разметались. А Мицай никак не мог взять зверя на прицел. Наконец раздался выстрел – пара задних волков поубавила прыть, зато передний взялся того проворней шевелить ногами.

– Бешеный! – прошептал Мицай и полез в карман за патроном. – Щас я тебя вылечу...

Передний зверь шёл нахлёстом уже метрах в ста от кошевы. Остальные прижимали уши, изгибали спины немногим дальше... Старик успел разломить свою одностволку, но никак не мог поймать в глубоком кармане патрон. И вдруг Нюшка увидела, как Мария самую малость двинула плечом в сторону Мицай. Дед вскинул руки. Ружьё ударило Нюшку по ногам. Девочка подхватила его и кинула старику, который медленно, как показалось Нюшке, вывалился из кошевы на дорогу. Так же медленно Мицай перевернулся через голову, но подхватился, кинулся за санями и... упал...

Нюшка в это время, сдёрнутая Марией на дно кошевы, увидела над собою вскинутый кнут...

Мария хлестала то по лошади, то по племяннице, которой не было больно. Девочка только вздрагивала, но скорее оттого, что любопытная луна при каждом тёткином взмахе выглядывала у неё из-под мышки и слезила ей глаза...

Мицай звали Мицаем потому, что, перед самой войною приставший к деревне неведомо чей Семешка-дурачок, страсть как любивший лошадей, завидя издали старика-конюха Михаила Даниловича Копылова, радостно сообщал всем, кто его слышал:

– Мица идёт!

На его языке это означало – Миша идёт. А получалось – Мицай-дед. Таким образом участник Хасана и финской войны, списанный инвалидностью конюховать в родной деревне Казанихе, был обращён добрым дурачком Семешкою в деда Мицай.

С приходом очередной войны добрых лошадей мобилизовали. За оставленными в колхозе несколькими клячами доверили приглядывать доброму Семешке.

Жил Семешка, с разрешения директора, в одном из школьных закутков, столовался по очереди у селян. Та же сельская община пользовала его баней и прочими заботами... А Мицай, заодно с кобылкой Соней, направили работать в школу – хозяйственником. Доставлять же в район и обратно деревенскую почту он напросился сам.

Соней величали кобылку за доброту и понурый вид. Довольно крепкая ещё лошадка была оставлена в колхозе из-за бельма на одном зрачке. В деревне Соня знала каждого, ко всем тянулась мягкими губами. За подачкою могла идти куда угодно. Иногда Соня останавлива-

лась у облюбованного палисадника – ждать угощения. Мила она была всем хозяевам тем, что, дождавшись желаемого, сразу заканчивала осаду.

И вот когда эта ласковая тихоня, храпя и теряя с губ лохмотья пены, вынесла на длинную улицу Казанихи раздёрганные бешеной скачкою сани, люди повыскакивали из дворов настолько дружно, будто над деревней ударил набат.

В санях простоволосая молодайка пыталась умирить кобылью слань. Соня взбрыкивала, ударяла ногами в передок саней, ржала до визга, но шла растяжкой. От страха она словно переродилась в гончую собаку. Нюшка лежала на дне кошевы; лишь её голые пальцы белели на кромке короба. Когда она потеряла рукавицы, тоже знал один лишь ветер...

Единым духом перемахнув полдеревни, Соня внесла кошеву на широкий школьный двор и остановилась только у крыльца. Озираясь на знакомый ей, казалось бы, народ, она не сразу перестала вскидывать голову, стричь ушами и щерить зубы...

Вся деревня собралась у саней. Больше, чем на лошадь, она глядела на патлатую красотку. А крепкая женщина в сером пуховом платке не замедлила подойти вплотную и спросить Марию:

– А где Михаил Данилыч?

Тем временем на школьном, в пять ступеней, высоком крыльце появился директор – Сергей Никитич. В чёрном костюме, трудно торопясь, он со своими костылями походил на подбитую ласточку, которая пыталась, да не могла взлететь. Такое бессилие все отметили разом. Отметила и Мария. Потому на вопрос о Мице она отозвалась не сразу. А Сергей при виде жены и вовсе обвис на своих опорах, стал обычным калекой; заскрипел костылями – и с крыльца, и по снегу...

Нюшке казалось, что костыли вовсе не скрипели, а всхлипывали...

– Кобыла понесла, – глядя на мужа, наконец ответила Мария, – старик и вывалился на дорогу.

Осанистая молодуха, что стояла рядом с «пуховым платком», подступила вплотную к саням, чтобы точнее узнать:

– Почему понесла?!

Статность подошедшей покорила Марию, и она, пытаясь сойти на снег, ответила:

– У кобылы спроси!

Покинуть сразу кошеву Марии не удалось – молодуха не отступила. Тогда она своими тёмными глазами повела по лицам селян, как по развешенному на рынке барахлу, затем повернулась к Сергею, но сказала для всех:

– Ну, муженёк! И долго меня тут будут пытать?

Селяне разом сникли, вроде как проторговались на её барахолке. Одну только Нюшку не обаяла Мариина спесь. Возможно, душа её, которая с самого утра барахталась в тёткиной подлости и лицемерии, наконец-то увидела своих освободителей. Девочка поднялась на колени и закричала, указывая рукой за деревню:

– Там волки!

Обгоняя взрослых, понеслась в степь ребятня.

Нюшка в кошеве отыскивала свои чуни, перевалилась через плетёный край короба и пустилась обгонять скупонюгих стариков. Ни Сергей, ни Мария даже не попытались её удержать.

Им обоим было видно, как народ на краю деревни остановился, толпа уплотнилась, развернулась и медленно направилась обратным ходом.

И вот уже среди различных лиц засияла улыбка деда Мицы. Рядом со стариком, который без шапки ковылял по дороге, теплилась довольная мордаха Нюшки. По другую сторону жались к ногам старика ладная овчарка...

## Глава 10

Васёна Шугаева была перестаркою: запрошлой осенью разменяла она четвёртый десяток. В тот же год похоронила шалопутного отца.

В семье Шугаевых от божевольного хозяина появлялись ребята худосочные. Появлялись часто. Но Шугаиха не успевала порой донести младенца до груди. И вдруг последняя деваха крепостью своей оказалась под стать годовику. Но и эта красавица неделю спустя чуть не задохнулась, когда с перепою, отец, вместо хлебного мякиша, обмакнул в молоко и сунул ей в рот чёрного таракана.

С этого переполюха и случилась с матерью горячка – померла, как испарилась!

Поднять Васёну помогла вдовцу соседка Дарья Лукьяновна Копылова – Мицаева жена. Даже во время колчаковщины она держала Васёну при себе, хотя долгими днями приходилось, заодно с мужем партизанить в приобских урманах.

После смерти Шугаихи муж её бросил пить; долго держался человеком. Но потом так взялся догонять своё скотство, что испитая его образина поросла щетиной. Только нос рыхлой свёклою сообщал людям о том, что таких носов ни у одной другой скотины, как у запойного мужика, быть не может.

Взамен прежнего буйства теперь напала на Шугая иная блажь – взялся юродствовать на людях и уже до смерти не изменил своему новому изложению.

Под конец жизни он до того доизложился, что вынудил селян плевать себе вслед...

Будучи ещё крохою, Васёна поняла: отец – её судьба, петлёю жалости и стыда захлестнувшая её горло. Над нею, в отцову породу огненно-рыжей, пытались потешаться жалкие людишки, что-де из Васёны таким-то пламенем выходит родителей срам. От этой недоброй шутки она избавилась тем, что низко повязалась чёрным платком, и никогда больше её, белолицую, синеглазую, никто не видел гологоловою...

При такой оболочке любая другая одежда, кроме смурой, казалась никчёмной. Вот из этой темноты долгие годы и смотрели на селян пасмурные глаза. Оттого и называли её сельские слабоумы баптисткой.

И даже, будучи настоящей баптисткой, не осталась бы Васёна одна, если бы судьба не подарила ей огромное, да несбыточное счастье – любить...

Дверь своей избы Васёна отворяла только перед бабами. Мужики давно не видели в ней ничего женского. Председатель колхоза Павел Афанасьев и тот как-то сказал своей жене Катерине:

– Ума не приложу, за что баптистка наша меня ненавидит? Что я ей такого сделал?

– Даже не прикладывай Васёну к уму... – волнуясь, произнесла тогда Катерина с глубоким вздохом. – Вам, мужикам, лучше этого не знать...

И без того жадная до всякого дела, Васёна с приходом войны взялась прямо-таки лютовать на работе.

– Надорвётся! – сокрушались бабы, сами до посинения устосанные на полях да на фермах. – Осатанела девка, будто семерых милых на фронт проводила.

– Ввёрнутая какая-то...

Такие-то «ввёрнутые» и откалывают порой номера, непостижимые для нормального человека.

Накануне праздника Великого Октября зашла Васёна в правление, где за председательским столом, взамен ушедшего на фронт Павла Афанасьева, теперь сидела Клавдия Парфёнова – та самая статная молодайка, которая месяцем позже потребовала от растрёпанной Марии ответа – насчёт Мицаев.

В конторе Клавдия-председательша толковала с двумя приезжими мужиками. Остроносый, дробный мужичок стоял перед столом и на каждое её слово согласно кивал головёнкой в шафрановом берете. Другой чернокудрый великаном сидел на стуле и без интереса дёргал за волоски свою собачью доху...

Васёна постояла у порога, послушала разговор, да вдруг и заявила:

– Эти хохряки будут жить у меня!

И не сказав Клавдии того, что привело её в контору, велела приезжим:

– Давай пошли!

Вечером Клавдия заглянула в телятник, где хозяйничала Васёна, поинтересовалась:

– Может, постояльцев-то забрать?

– Нет! – отрезала та.

– Гляди, не пришлось бы с ними...

– Мне?! – резко удивилась Васёна, даже не позволив Клавдии договорить. – Да мне ли привывать погань уламывать...

Её суд не больно понравился Клавдии. Во-первых, столь жестокий отзыв, по сути, о собственном отце; во-вторых, такое презрение к незнакомым людям... Постоянно жалевшая Васёну, даже Клавдия тут подумала: «И в самом деле баптистка». Но ровно на другое утро бабка Дарья, Мицаева половина, обзвонила всю деревню забавной новостью:

– Ни свет ни заря вынес меня чёрт во двор, а у соседки-то у моёй, у Васёнушки-то у нашай, молодой-то новоселец в одних кальсонах под окошком скачет. Не-ежно так просится: «Пусти!...» А я-то: «Ой!» Крутанулс я рылом ко мне. Матушки-и мои! Полморды кровотёком забрано!

– Ай да Васёна! Ай да молодец!

– Скаврадой, поди-ка, пригвоздила?

– Она и кулаком прилепит – не оторвёшь...

Улыбаясь бабьим насмешкам, Клавдия поняла: поди ж ты, какая умница! С одного взгляда распознала нечисть... Велика, знать, боль твоя, Васёнушка, если так стараешься уберечь от лишней срамной заботы землячек своих...

Волчья канитель Васёну дома не застала: она вызвалась пособить дояркам, которые ждали от бурёнок скорых отёлов. Осип тоже отсутствовал – что-то промышлял со Степаном-заготовителем по соседним деревням. Потому рассопевшегося под тулупом Фёдора разбудить было некому. Так что Мария, стоя в раздёрганной кошеве, напрасно корчила перед мужем свою независимость. Впустую надеялся и Мицай, что на сегодня все его треволенья утихли. Но стоило ему подойти к Марии – глянуть в лицо, как все его «шарниры (потом жаловался он своей Дарье) заржавели». Ни тени смущения не обнаружил старик в её глазах. Отдаляясь от этого бесстыдства, он обратился к Сергею:

– Ты чего, Никитич, раздетым стоишь? Веди племяшку в тепло...

Мицай давно знал от матери Сергея Никитича о Мариином житье-бытье. Знал и то, что напрасно ждёт Сергей весточки от жены, да только всякий раз надеялся выудить из почтовой сумки злосчастное письмо.

Тяжко было старику видеть, как смурнеет хороший человек, принимая от него лишь газеты да деловую почту. И всё-таки в Мицае тлело уважение к Марии за её молчание. Он понимал, что добрых писем от неё вряд ли дождёшься, а плохих – Господь покуда милует.

И вот тебе – грянул гром, да не из тучи, а из навозной кучи...

В ту, в волчью ночь, уже покоясь на тёплом припечике, Мицай видел дорогу, на ней степных разбойников. Благодарил Нюшку за ружьё...

Однако и при ружье не надеялся тогда старик остаться живым – ноги отказывались держать его, ружьё оставалось незаряженным. Только вдруг в переднем звере Мицай угадал собаку. Он закричал как мог:

– Давай! Давай, милая!

Тормозя лапами по мелкой колее, псина чуток проехала мимо старика, тут же развернулась и, ероша загривок, стала рядом.

Волки были на подлёте, но при такой внезапности остопились и упёрлись лапами в дорогу, оголив пасти оскалом. Мицай чуя, что собака мелко дрожит, зачем-то запел, по-волчьи вытягивая звуки:

– И-и шли-и два-а гер-ро-о-оя...

Серые от неожиданности опустили на дорогу зады, приподняли морды, прислушиваясь к непонятным звукам. Мицай, выводил завывание, сам не спускал со зверей глаз. Раскачиваясь под волны своей песни, он скользнул рукою в карман, сразу нащупал заряд и так же медленно донёс его до патронника.

От щелчка затвора серые опомнились. Мицай не успел прицелиться. Он и выстрела-то не услышал... А вот теперь, на тёплой печной лежанке, до самого утра всё видел замедленный звериный взлёт, волчье светлое брюхо, лапы в судороге, затем запрокинутую на спину башку...

Зверь упал на дорогу так, словно ухнул с небес. Другой было кинулся вперёд, но крутанулся в прыжке, спружинил на всех четырёх лапах, мощным прыжком хватил в сторону и во все лопатки взялся стегать под неяркой ещё луной серую равнину.

Собака за ним не погналась. Скаля зубы, обошла мёртвого бирюка, рыкнула, подошла к Мицаю и заскулила. У старого же не оказалось силы сразу подняться на ноги...

А теперь он лежал на припечике и улыбался, потому что видел Нюшку, которая бежала к нему навстречу по деревенской улице и всё теряла да подхватывала свои чуни...

Мицай ворохнулся со спины на бок, подсунул ладошки под лицо, прошептал:

– Надо пимёшки скатать...

Так до самого рассвета не дался старику сон. Он слышал, как в пригоне фыркала Соня, как влзлаивала во дворе собака.

«Не-ет, не Манька...» – подумал о ней старик.

– Не Манька... – прошептал вслух. – Никакая собака не кинет в беде человека...

В бессоннице своей дед старался не видеть Марию, боялся допустить до ума истину приключения. И всё-таки он понимал её намерение разом отделаться и от зверей, и от лишнего свидетеля своей беспутности. Вокруг этой стержневой сути всё крутились и крутились стариковы жизненные понятия. Он ворочался, садился, повторял: «Не Манька», опять укладывался, пока старая Дарья не заругалась на печи:

– Лешак ты вертит! Всю избу расшатал! Какая у тебя там Неманька?

– Да я всё про собаку...

И тут Мицай хлопнул себя по лбу:

– Будь ты весь! Старый пень! Забыл всё с этой собакой!

– Чё забыл? Когда девкой был?

– Письмо забыл отдать.

– Како тако письмо?

– Ну! Закокала! С фронту – како тебе ещё? Катеринино – Афанасьихи. В пинжак на почте заложил, да заканителился...

Дарья уже стояла на полу, ругаясь:



– Обормот! Бабе с начала войны – ни весточки, а он – в пинжак, видите ли, заложил... Куда?! – остановила она деда, когда тот потянулся за портками. – Лежи уж, забывальщик!

Она быстро собралась, приняла от Мицая фронтовой треугольник, сказала на ходу:

– Сёдни Катерина дома ночевала. Гостей устраивала. Успеть бы, пока на ферму не унеслась...

Во дворе на неё заворчала собака.

– Ишшо чего?! В своём доме да под стражей. А ну, пусти, Неманька!

Слыша такое Мицай на припечике хохотнул.

Афанасьевский дом был рублён самим Павлом на большую семью. И сотворилась эта семья скорее обычных. Старшие сыновья – Пётр да Павел, средние – Константин да Николай были принесены в этот мир двойнятами да погодками. Все толстоголосые, съестные, крепкие. Пятым Иван появился на свет – семимесячным, дробненьким, потому залюбованным матерью сильнее прочих. Но к большим годам если не раздался по-афанасьевски, то, проходя под дверной притолокой, гнулся ниже остальных. Восемнадцать ему стукнуло в посевную, а чуток спустя грянула война.

Весь афанасьевский родник разом поднялся из-за обеденного стола, будто собрался на дальние покосы, только никто не взял с собою ни оселка, ни литовки, ни всегдашнего балагурства. Зато приняли от матери благословение да наказ: везде и всюду оставаться верными россиянами!

Павел сам вывел сыновей из дому, сам уселся за руль полуторки, прямо с сиденья машины последний раз обнял свою Катерину, сказал виновато:

– Война, мать! Прости!..

И загудела полуторка длиннее бабьих провожальных стонов, длиннее степной дороги, длиннее всей человеческой памяти. Прощались хлебоборобы с нивами, с берёзовыми колками, с неповторимыми запахами родимой земли...

Когда полуторка пропала за пологом степной пыли, Катерина вдруг сорвалась с места – догнать, но не осилила и десяти шагов, задохнулась и осела на дорогу. Мицай пособил ей подняться. Повёл домой. У ворот она остановилась, обернулась на опустевшую степь, обречённо сказала:

– Всё! Вырубили мою рощу...

– Ты чё? В уме, баба?! – застрожился было Мицай, но Катерина горько усмехнулась, словно собралась да не сказала: «Где уж вам, мужикам...»

Зато сказала неоспоримое:

– Я знаю, што говорю!

А теперь Катерина, считай, жила на ферме, где работала животноводом. У себя дома она появлялась лишь помыться в бане да переодеться.

Как-то Мицай сказал ей, что Сергей Никитич не прочь бы перебраться жить в её дом. Она тому настолько обрадовалась, что тут же назвала директора школы сынком.

Сергей Никитич был человеком таким, словно прожил на свете сто мудрых лет и повторился землёю за своё бескорыстие и доброту.

По приезде его в Казаниху возникшее было среди сорванцов прозвище Костырик в две недели выцвело и совсем потеряло себя в новом звании – «Музыкант». Это звание присвоил Сергею Никитичу опять же Семешка. Глупырь очень любил бывать на школьных уроках. Прежний директор за такого «ученика» ругал учителей, Сергей же Никитич только и сказал:

– Чтобы на уроках ни гу-гу!

И вот однажды, наблюдая с последней парты за движением рук Сергея Никитича, Семешка самозабвенно произнёс:

– Музыкант!

Ясно, что имел он в виду дирижёра. Только где и когда мог он видеть и запомнить нечто подобное, осталось загадкой...

А когда Катерина Афанасьева узнала, что Сергей Никитич женат, то решила для себя: эта его жена может в любой час появиться в деревне. Потому скорым днём она взялась наводить чистоту в доме. Однако же ей недолго было понять, что вряд ли это когда-нибудь случится. И всё же она убедила себя, что такой человек, как Сергей Никитич, не станет сохнуть о какой-то там пустышке.

И вот те на! Явилась жена, как в субботу сатана...

Стоит в кошеве перед удивлённой Катериной только что не таборная красавица, ведёт чёрным глазом так, будто перед нею вовсе не люди, а зеркала, которые обязаны отражать её неповторимые прелести. И вдруг эта красавица говорит не кому-нибудь, а Сергею Никитичу:

– Ну, муженёк!

Деревню в тот дурной вечер так и отшатнуло от саней. Во всяком случае, так показалось Катерине. А ей пришлось самой взять Нюшку за руку и пошагать с нею к себе домой – в тепло, в сытость, в надёжность. Дорогой она приговаривала:

– Щас прийдём, налопаемся – и спать...

Сергей с Марией молча последовали за ними...

В кухонном окне афанасьевского дома теплился огонёк. Мицаиха в калитку не торкнулась, а поклевала пальцем по стеклу окна. Изнутри разошлась задержушка, свет заслонился хозяйкою. Дарья, как бы разгоняя порхающие в воздухе снежинки, помахала конвертом. Катерина поняла её, но к двери не кинулась. В исподней рубаше, с неприбранными ещё волосами, она отступила от окна и вялой рукою прикрыла рот. Но вдруг волосы разметнулись крыльями, крутанули хозяйку и понесли раздетой на мороз.

У калитки Мицаиха поймала её, развернула и только в доме протянула треугольник письма. Катерина отступила, поискала на голове платок, не нашла и стала клониться на сторону. Бабка Дарья помогла ей опуститься на табурет и вздумала журить:

– Сказилась баба...

Но Катерина посмотрела на письмо, сказала:

– Это самого...

– Буровишь, что ни попадя, – возразила Мицаиха, но Катерина отрезала:

– Не спорь! Нынче мне сон был: иду бы я сплошным чернозёмом – глаз не на что положить. А то бы и не чернозём вовсе – вороньё! И не вороньё – кошки чёрные. Расступаются – дорогу дают. На дороге новый сруб – ни окон, ни дверей. Без крыши. Вот она... крыша-то, – кивнула она на треугольник...

– Господи, Твоя воля! – перекрестилась Дарья, а Катерина продолжила:

– Не могу сруб тот обойти; на стену полезла. Сверху вижу – весь пол усыпан червями. В углу на коленях Павел стоит. Меня увидел – рукой машет: уходи, дескать... На том и проснулась. А тут ты... Читай! – приказала она старой. – Про себя читай, я пойму...

Она поднялась, бледная в белой своей исподней рубаше уставилась в чёрную пустоту заоконья, как в своё предстоящее, и повторила:

– Читай!..

Во всю Казаниху угодила эта фронтовая пуля. Бабы торопились к афанасьевскому дому – пострадать от первой безысходной на деревне боли, от страшных предчувствий... Они столпились у двора. Хотелось выть, но законная белая Катерина не давала им путём даже передохнуть...

Так засветлел горизонт.

Мимо той молчаливой толпы медленно прошла Васёна Шугаева, остановилась перед окном, занемела – глаза в глаза – против Катерины. Минутой она развернулась, спокойно перешла улицу. На другой стороне опять придержалась, сказала слышно, ледяным голосом:

– Оставайтесь с Богом!

И пошагала изволом до реки. Кто-то сказал ей вслед:

– Вот у кого сердце-то каменное...

В тихой избе бабка Дарья услышала тот голос, глянула в свободное окно: кого там судят? Но, помимо бабёнок, увидела наискосок только кирпичное строение бывшего маслозавода, которое смотрело на деревню двумя битыми стёклами окон.

«Пару окон вечер высадил, паразит! – подумала она. – Сколько теперь прогреть понадобится. А ребятню под Новый год обещались пригнать».

– Дарья Лукьяновна...

Позвавший её голос был очень тих, но старая услышала, обернулась, увидела на пороге полуоткрытой комнатной двери Сергея Никитича и поторопилась прошептать:

– Беда у нас!..

Она показала глазами на стол, где лежало письмо, охнула, словно бы только что сама его увидела, не сдержалась, запричитала не сторожась:

– Соколик ты наш сизай! В каком поле, в каком во поле да сложил ты свою буйну головушку? Да не встать тебе, не сказать тебе, каким пивом-брагою опоил тебя супостат-злодей...

– Чёрт знает что! – послышалось из комнаты. – Не дадут ребёнку выпастся!

Дверь комнаты захлопнулась, бабка замолчала, Катерина у окошка вздрогнула, прошла за полог своей кровати, которая стояла тут же – в кухне, появилась оттуда уже причёсанная, одетая. У избяной двери накинула на себя полушубок, шагнула за порог.

На улице сказала бабам:

– Война, што ли, закончилась? Айда работать!

## Глава 11

Осип Панасюк доставлен был в Казаниху заготовителем Степаном Немковым лишь к полному рассвету. Его ждала соседка – бабка Дарья. Она сразу и окликнула его через низкий плетешок ограды:

– Семёныч, погодь-ка!

Тот улыбчиво погодил. Но старая не собиралась на его умиление отвечать тем же.

– Где тебя черти носили? – спросила она.

– Та-ак! – ответил Осип. – Только перед вами, Дарья Лукьяновна, я ещё и не отчитывался...

– Вот те и так – за рупь пятак, за два – алтын, не ходи дурным... Ступай-ка полюбуйся, чё твой придурок в детдому отмочил!

– А я што могу? – горестно склонил Осип головёнку. – У него – справка. От врачей. А я што могу? – повторил со слезою в голосе.

– В задницу заткни свою справку. – Не проняла Дарью соседова печаль. – Знать, у вас такие и врачи – хоть караул кричи...

– Да в чём дело-то? – уже с лёгким раздражением воскликнул Осип... – Прошу...

– Проси, проси, да вперёд не голоси... – не дала старая Осипу доспросить путём. – Состряпал стервеца – всю жись будешь за него просить. Только деревня-то пошто стряпню твою должна хлебать?! Беги поглянь, чё твой стервец в детдому натворил...

Бабке хотелось удариться в голос, но рядом с нею уже стояла и порывивала на ответчика собака Неманька...

Осип было вознамерился пройти до здания будущего детдома незамеченным, но в узком переулке лоб в лоб сошёлся он с председателем колхоза – Клавдией Парфёновой.

– О! – воскликнула та. – На ловца и зверь бежит. – И взяла с места в карьер: – Месяц вы тут деревню объедаете, а барыша – ни шиша?! Один заготовителя пасёт, другой распоясался – не завяжешь...

– Большой он, – заново поспешил Осип огородить сына от вины.

Да Клавдия на его старание только повысила голос:

– Самогон жрать – он здоровый, а человеком оставаться – больной! Твой немощный, гляди, только стены у завода не разворотил! Окна повыхлестал! Чем теперь стеклить прикажешь? Задницей твоей?! Ой, смотри, Осип Семёныч, как бы я из него настоящего родимчика не сделала...

Однако Осип поторопился обнадёжить Клавдию:

– Мне про Федьку в Татарке уже доложили, – соврал он. – Я и с заготовителем успел договориться – насчёт стекла. На днях обещался привезти. А что справки, так я и сам думаю, что пора их удостоверить. Постараюсь, Сазоновна, постараюсь...

Дальше Осип побежал по-над яром реки Омки. Но и тут ему довелось кинуться под стожок соломы, кем-то оставленный у самой кручи. Тому причиной оказалась Катерина Афанасьева. Она стояла в распахнутом полушубке у кромки обрыва; вглядывалась в заречную даль. Туда же потянулся глазами и Осип.

На другой стороне реки по снеговому долгому изволоку медленно брела-поднималась чёрная запятая человека. Минутой она готова была скрыться на вершине косогора. Там её, казалось, поджидал густой заснеженный березняк. А здесь Катерина была напряжена так, что Осипу показалась она беркутом, готовым взлететь над пойменным заречьем, чтобы догнать готовую исчезнуть добычу. И он шепотком не то пожелал, не то предсказал Катерине:

– Сил не хватит... Треснешься, дура, об лёд!

Он обогнул стожок и выглянул с другой его стороны. Потянул носом, прошептал:

– Хлебом пахнет...

Подумал: «Полюбить бы такую...»

В этот момент Катерина подвернула под колени полушубок, села и по крутому снеговому склону яра съехала к реке. Он увидел её опять уже внизу, на льду реки. Проследил, как она ловко одолела шиханы, выбралась из урёмы на другой берег и подалась на высоту косогора в тот самый, в заречный березняк.

Осип отряхнул с пальтишка своего соломинки, вышел из-за стожка. Придержался на краю обрыва, ещё самую малость понаблюдав за происходящим, молвил с усмешкой:

– И чего это они там забыли?

Решил:

– Бесят бабёнки без мужиков... Надо бы заглянуть ненароком до Катерины... Хотя и Клавдия, – помянул он председателю, – тоже в теле... не откажешь... Хороши, сволочи!

Как на море туман, весть о гибели Павла напрочь срезала перед Катериной весь мир. Сущее да желанное скрылось во мраке с такой скоростью, словно губка непроглядности втянула их в себя, как щепку в речную воронку.

Уже готовая отдать себя на волю крутого омута, Катерина вдруг различила перед собою заслон – лицо законной Васёны. Перед нею стояла откровенная, обнажённая любовь к Павлу. К её Павлу! И между ними, между этими крепкими славянками, ничего больше не оказалось, кроме взаимной несусветной беды...

Отлюлюкалась, отматерилась на Сибири Гражданская война, можно было обустроиваться на родимой земле. И вот уж скоро Павлушке с Петюнькою Павел Афанасьев купил в районе новые картузы. Там и Коське с Николкой по пиджаку справил. А вот и подскрёбыш Иван, гляди, поднялся выше отца. Сама Катерина из тонкой лозины превратила в Афанасьиху – статную хозяйку добротной семьи!

А Васёна Шугаева, повязанная чёрным платком, со слипшимися от молчания губами, всё шагала на ферму и обратно, всё вводила с улицы домой вечно срамного отца. Деревня давно забыла: сколько ей лет? Не спрашивала: что у неё на душе? Живёт – и живи. Афанасьиха тоже ничем не выделяла Васёну – разве что её дикостью. И в страшное утро не различить бы ей во тьме своей беды Васёниного лица, кабы запрошлую весной её жизнь не открылась Катерине совсем другой стороною.

Искала тогда Катерина у вечереющей реки блукавую козу. И слышался ей вовсе не блёкот упрямой скотинки, а певучий бабий стон.

Зарослями пробралась она до лощины, где у вынесенной на берег половодьем коряжины стояла рыжая в огонь молодуха. Облитое лучами солнца мокрое тело её отливало жемчугом. Сомкнув на затылке пальцы рук, она творила нечто похожее на молитву.

Не скупа на красоту русская земля, но порою властвует её щедротами сила безмерная!

Катерине показалось тогда, что рыжая только-только сотворена самим светилом, которое, намереваясь отправиться отдохнуть, жаждет успеть – сполна насладиться делом рук своих.

А красавицу вдруг выгнуло с такою силой, будто под нею вспыхнул костёр. Слова её зазвучали тихим криком. Она как бы вознадеялась им заглушить боль стогания:

Гряньте, стареньких небес колокола,  
Вольно вам отлёживать бока!  
Я себя отпела и оплакала,  
А теперь валяю дурака...

Голос был настолько полон страданием, что слова для Катерины потеряли значение. Проявились они только с последним восклицанием:

...Мне давным-давно пора повеситься,  
Только больно нравится мне Русь!

Закончив молитву, рыжая пошла в воду, бесшумно легла на волну и поплыла на другой берег.

«Слава богу!» – перевела Катерина дыхание, осознавая, что нет у реки намерения поглотить такое совершенство. Тогда она потихоньку выбралась из урёмы на взгорок, увидела сверху, что рыжая стоит на чистом песке противоположного берега. И подумалось ей: «А голос-то наш... деревенский чей-то».

В тот раз Катерина махнула на козу рукой – холера с ней! – и зашагала гривою домой. Только что услышанные строки моления роились у неё в голове. При этом она размышляла:

«Видать, много накопилось в этой бабе лежалого звона, чтобы так разговаривать с небесами! Может, чужого мужика полюбила? Не приведи господи! А ежели он такой, как мой Павел? Пропала баба! Скоро серебряную свадьбу играть, а он жаден до меня, как голодный парень...»

Заново осознав себя любимой, Катерина тихо засмеялась, сказала себе:

– Не-ет, мои колокола не заржавеют...

Коза блёкотом встретила хозяйку у ворот дома.

– Что? Нагулялась, сатана? – спросила Катерина. – Хлебушка клянчишь? Ничего, потерпишь. Сейчас Жданку встретим – разом и угощу.

Медленное от сытости деревенское стадо уже вплывало с луговины в улицу. Чуя готовое пойло, коровы утробно мычали, верещали овцы.

Выглядывая в пёстром наплыве скотины свою Жданку, Катерина увидела Васёну, которая понуро шагала в отдалении, следуя за стадом.

«Будто крест несёт!» – подумала тогда Катерине и разом поняла, кто молился у реки. Но тут ей в руку уткнулась тёплыми губами корова, требуя привычной ласки.

– Ну-ну... – похлопала её хозяйка по шее. – Потерпи, потерпи...

Её слова как бы услышала Васёна. Она подняла голову, увидела Катерину, остановилась, как наткнулась на высокую стену, секунду помедлила, сникла и молча прошагала мимо...

Уверенным в незыблемости счастья своего может быть только идиот. Катерина глупостью не страдала. Однако от набежавшей тревожной мысли она тут же отказалась. Задала себе совсем другой вопрос: люди, что же творится с нами? Почему так просто мы забываем один другого? И я сама – заплесневела в добре... видишь ли – пауки не шевелятся в колоколах...

И тогда же, следующим утром, Катерина застала Васёну за колхозным телятником. Она отворачивала вилами лежалый пласт навоза.

– Бог в помощь, – сказала Катерина.

– Назьма, што ли, твой Бог не нюхал? – усмехнулась Васёна, поразив подошедшую грубостью голоса.

«Надорвала, знать, причитая! – догадалась Катерина и допустила до себя заурядное бабье ехидство. – По чужому-то мужику...»

Но спросила ровно, безо всякой обноски:

– Почему в одиночку-то пластаешься?

– Так же... семьи у всех. Когда-то бы надо и доглядеть, и накормить...

– А ты-то не завтракаешь, что ли?

– Не завтракается, – опёрлась Васёна о держак вил и грубо спросила: – Чего надо? Чё пришла?

«Напрашивается на скандал», – мелькнуло в Катерине подозрение, но она упустила прямой ответ, а сморозила неожиданную для себя пуповинную бабью глупость:

– Для кого стать бережёшь?

Васёна с маху воткнула вилы в навоз, тихо сказала:

– А я думала, ты умнее...

Так сказала, что Катерина ощутила никчёмность начатого ею суда.

Покуда она растерянно искала в себе ответ, Васёна выложила перед нею такую истину, после которой Катерина долго ещё ходила мимо её двора с замиранием сердца.

– Ты на что надеялась? Думала, что я начну отнекиваться? Не начну! Мне кажется, что я родилась с любовью к нему...

Медленный, спокойный голос её исходил из самого нутра. Губы почти не шевелились. Но с каждым словом Катерина всё больше осознавала, что на такую любовь суда нет.

– Живи-ка ты, как жила, – продолжала говорить Васёна, – а с меня и того хватает, что он есть на белом свете...

После разговора с Васёной Катерина обнаружила в себе разбуженное заново чувство к собственному мужу, да такое, что Павел в очередную ночь предложил:

– Давай сотворим ещё одного сына.

И задохнуться бы ей от счастья великого, не разрыдайся она той ночью. Ни Павел ничего тогда не понял, ни она не смогла ему ничего объяснить. И только теперь, на вершине заснеженного увала, она сообразила, что изливала на крепкую грудь мужа своего Васёнину боль.

А теперь?! Теперь куда девать своё горе? Куда девать Васёнину любовь?

Уже приближаясь к березняку, Катерина остановилась на минуту, покачалась в сугробе, внезапно, как Васёна у реки, воздела к небу руки и закричала с подвывом:

– Па-шенька-а!

Эхо сорвало с ветвей опоку; в её блёстках размылся, потерялся образ Васёны. Оттого Катерина взывала того тошней:

– Васёна-а-а!

Березняк отозвался сорочьим стрёкотом. Катерина метнулась на птичье беспокойство. Она знала, что сорока не зря сорочит. И не ошиблась.

Простоволосая Васёна сидела у комля старой берёзы, прихлестнутая здоровенной развилиной. С её шеи сползала на снег токая змейка пеньковой верёвки. Лицо было запорошено снежной пылью.

Смахнуть эту искру для Катерины показалось страшней, чем поднять из гроба покойника. Но, приглядевшись, Катерина поняла, что сук обломился прежде, чем пеньковая змея сумела сотворить непоправимое.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.